UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00278967 5

OP

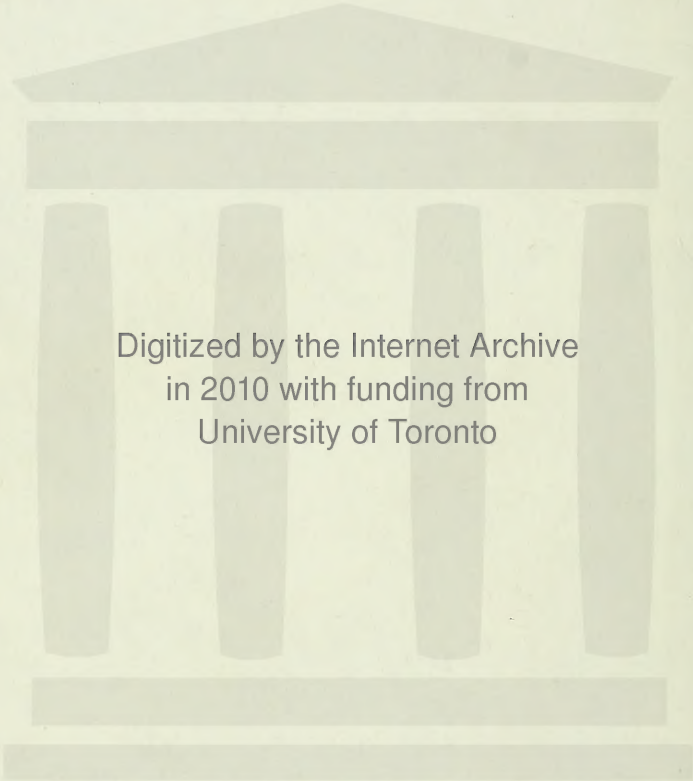
AL'MANAKH PERVYI

Serapionovy brat'ia

UNIVERSITY MICROFILMS, INC.
A Subsidiary of Xerox Corporation
Ann Arbor

XEROX

PG
3283
S4



Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/serapionovybrati00pete

This "O-P Book" Is an Authorized Reprint of the Original Edition, Produced by Microfilm-Xerography by University Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan, 1966

СЕРАПИОНОВЫ БРАТЬЯ

X84562
OP8716

АЛЬМАНАХ ПЕРВЫЙ

„АЛКОНОСТ" ПЕТЕРБУРГ 1922

84562
4°27
4°0

PG
3283
S4

LIBRARY
OCT 19 1966
UNIVERSITY OF TORONTO

1133624

Р. В. Ц. № 406. — Отпеч. 4.000 экз.—Зак. № 726.

26-я Государственная типография, Петроград, Измайл. пр. № 29

Посвящается
Марии Сергеевне
Аленкиной

Мих. Зощенко.

ВИКТОРИЯ КАЗИМИРОВНА.

Рассказ.

В Америке я не бывал, и о ней, прямо скажу, ничего не знаю.

А вот из иностранных держав про Польшу знаю. И даже могу ее разоблачить.

В германскую войну я три года ходил по польской земле... И нет! Не люблю я полячишек.

В натуре у них, знаю, всякие хитрости

Скажем: баба.

Ихняя баба в руку целует.

Только взойдешь в халупу:

— Ниц нема, пан.

И сама, стерва, в руку...

Русскому человеку это невозможно.

Мужик ихний безусловно хитрая нация. Ходит завсегда чисто, бороденка бритая, денежку копит. Нация их и теперь выясняется. Скажем: Верхняя Силезия...

Зачем, пожалуйста, полячку Верхняя Силезия? Зачем же издеваться над германской нацией?

Ну, хорошо — живи отдельной державой, имей свою денежную единицу, а к чему же еще такое несбыточное требование?

Нет, не люблю я полячишек.

А вот поди-ж ты: встретил польскую паненку, и такая у меня к Польше симпатия пошла, лучше, думаю, этого народа и не бывает.

Да только ошибся.

Нашло на мене, прямо скажу, такое чудо, такой туман,—что она прелестная красавица ни скажет, то я и делаю.

Убить человека я, скажем, не согласен—рука дрогнет. А тут убил и еще другого, престарелого мельника убил, хоть и не своей рукой, да только путем своей личной хитрости.

А сам, подумать грустно, ходил около полячки легкомыслению, женишком прямо, бороденку даже подстриг и в подлую ее ручку целовал . . .

Было такое польское местечко Крево.

На одном конце - пригорок — немцы окопались, на другом—обратно пригорок—мы окопчики взрыли, и польское это местечко осталось лежать между окопчиками в овраге.

Польские жители, конечно, уводились, а которые хозяева и которым, как бы сказать, добришко покинуть грустно—остались.

И как они там существовали—подумать странно. Пуля так и свистит, так и свистит над ними, а они ни чего, живут себе.

Ходили мы к ним в гости.

Бывало в разведку либо в секрет, а уж по дороге безусловно в польскую халупу.

К мельнику все больше ходили.

Мельник такой существовал престарелый.

Баба его сказывала: имеет, говорит, он деньжонки—капиталом, да только не говорит где.

Будто обещал сказать перед смертью, а пока чего-й-то пугается и скрывает.

А мельник это точно скрывал свои деньжонки.

В задушевной беседе он мне все и высказал.

Высказал, что желает перед смертью пожить в полное семейное удовольствие.

— Пусть,—говорит,—они меня такого-то малехонько побалуют, а то скажи им где деньжонки — оберут как липку и бросят за свои любезные, даром что свои родные родственники.

Мельника этого я понимал и даже ему сочувствовал. Да только какое там, сочувствовал, полное семейное удовольствие, если болезнь у него жаба и ноготь, приметил я, синий.

А старичка они баловали.

Старик кобенится и финтит, а они так во взор ему и смотрят, так перед ним и трепещут, пугаются, что не скажет про деньги.

А была у мельника семья: баба его старовательская, да неродная дочка, прелестная красавица и паненка Виктория Казимировна.

Я вот рассказывал великосветскую историю про старого князя вашего сиятельства—все воистинную есть правда и босячки крохоборы, и что били они меня инструментом, да только не было в тот раз прекрасной полячки Виктории Казимировны . . . И быть ее не могло. Была она в другой раз и по другому делу . . .

А это уж я так, извините, худого мужика—солжил.

Была она Виктория Казимировна дочка престарелого мельника.

К ней-то в гости мы и ходили.

И как это вышло?

С первых даже дней занялись у нас отношения.

Помню, раз пришли к мельнику . . .

Сидим, кихикаем, а Виктория Казимировна из всех меня отмечает, ко мне ластится: то, знаете ли плечиком, то ножкой.

И такой в халупе страх настал, сидим и дыханье свое слушать жутко.

Так вот помер мельник через мене и спинули - аминь во веки веков его деньжонки--капиталом.

А очень тут загрустила Виктория Казимировна.

Плачет она и плачет и всю неделю плачет--не сохнут слезы.

А как приду к ней—гонит и видеть меня не может.

Только прошла, запомнил, неделя, являюсь. Слез, смотрю, нету и подступает она ко мне даже любовно.

- Чего-ж,—говорит,--ты сделал, Назар Ильич? Ты, говорит, во всем виноват, ты теперь и выкручивайся.

Достань ты мне хоть с морского дна небольшой капитал, а иначе ты для меня первый преступник и уйду я, знаю куда, в обоз. Звал меня в любовницы прапорщик Лапушкин, и обещал даже золотые часишки браслеткой.

Покачал я пригорько головой, дескать, откуда мне такому-то разжиться капиталом, а она вскинула на плечи трикотажный платочек, поклонилась мне низенько.

— Пойду,--говорит,--поджидает, ждет меня прапорщик Лапушкин. Прощайте, пожалуйста, Назар Ильич, господин Синебрюхов.

- Стой,—говорю, стой, Виктория Казимировна. Дай, говорю, срок дело это обдумать надо.

-- А чего,--говорит,--его думать? Пойди да укради хоть с морского дна, только исполни мою просьбу.

И осенила тут меня мысль.

На войне, думаю, все можно. Будут может немцы наступать--пошурую по карманам, если на то пошло.

А вскоре и вышел подходящий случай.

Была у нас в окопах пушечка . . . Эх, дай Бог память--Гочкис заглавие.

Морская пушечка Гочкис.

Дульце у ней тонехонькое, снаряд и смотреть на него глупо, до того незначительный снаряд. А стреляет она всячески не слабо.

Стрельнет и норовит взорвать что побольше. Над ней и командир был — морской подпоручик Винча. Подпоручик нечего себе, хороший пордпоручик. Бить не бил, но под винтовку запросто ставил.

А очень мы любили эту пушечку, и завсегда ставили ее в свой окоп.

Тут, скажем, пулемет, а тут небольшое насаждение из елок—и пушечка.

Германии она очень досаждала, в польский костел она била по куполу, потому что был там германский наблюдатель.

По пулеметам тоже била.

И прямо немцам она не давала никакого спасения.

Так вот вышел случай.

Выкрали немцы в ночное время у ней главную часть—затвор. И притом унесли пулеметы.

И как это случилось—удивительно подумать.

Время было тихое. Я безусловно к Виктории Казимировне пошел. Часовой у пушечки вздремнул, а подчасок, сволочь такая, в дежурный взвод пошел. Там в картишки играли.

Ну, ладно. Пошел.

Только играет он в карты, вмешивает и, сучий сын, не поинтересуется посмотреть, что случилось.

А случилось: немцы пушечкин затвор подтибрили.

К утру только пошел подчасок к пушечке и зрит: лежит часовой безусловно мертвый и крутом кража.

Ох, и было же что тогда!

Морской подпоручик Винча тигрой на меня наскакивает, весь дежурный взвод ставит под винтовку и

каждому велит в зубах по карте держать, а подчаску всем три карты.

А к вечеру на коне едет—волнуется генерал, ваше превосходительство.

Ничего себе, хороший генерал.

Только взглянул он на взвод и гнев его прошел. Тридцать человек, как один, в зубах по карте держат.

Усмехнулся генерал.

— Выходи,—говорит,— отборные орлы, налетай на немцев, разоряй внешнего врага.

Вышли тут, запомнил, пять человек, и я с ними.

Генерал, ваше превосходительство, восхищается нами.

— Ночью,—говорит,—летите орлы, режьте немецкую проволоку, изыскивайте хоть один немецкий пулемет, и если случится—пушечкин затвор.

Хорошо-с.

К ночи мы и пошли.

Я то играючи пошел. Мне нужно было.

Во-первых, мыслишку свою имел, а потом, жизнь свою я не берег.

Я, знаете ли, счастье вынул. Да.

В 16 году, запомнил, ходил такой черный, люди говорили, румынский мужик. С птицей он ходил. На груди у него клетка, а в клетке не попка, попка та зеленая, а тут вообще какая-то тропическая птица. Так она, сволочь, такая ученая, клювом вынимала счастье - кому что.

А мне, запомнил, планета Рак и жизнь предсказана до 90 лет.

И еще там многое, что предсказано, что я уж и позабыл, да только все исполнилось в точности.

И тут вспомнил я предсказанье и пошел прямо гуляючи.

Подошли мы к немецкой проволоке.

Тень. Луны еще не было.

Прорезали преспокойно лаз, спустились в ниш в окопчики в германские, прошли шагов с полста—пулемет пожалуйста.

Уронили мы германского часового на землю и придушили тут же.

Очень мне это было неприятно, жутковато, вообще, знаете ли, ночной кошмар.

Хорошо-с.

Сняли пулемет с катков, разобрали кому что, кому катки, кому ящики, а мне, запомнил, подсунули, мать их так, самую что ни на есть тяжесть—тело пулемета.

И такой, провались он совсем, тяжелый был, те на легке—шаг да шаг и скрылись от мене, а я пыхчу с ним, затрудняюсь.

Мне бы на верех ползти, да смотрю—проход сообщения—я туда.

А из за угла вдруг германец прездоровенный здоровенный, и на перевес у него винтовка.

Бросил я под ноги пулемет и тоже винтовку вскинул.

Только чую—германец стрельнуть хочет—голова на мушке.

Другой оробел бы, другой ух как оробел бы, а я ничего, стою, не трепыхнусь даже.

А поверни я только спину, либо щелкни затвором, тут, безусловно, мне и конец.

Стоим друг против дружки и всего-то до нас пять шагов.

Зрим друг рута глазами и ждем, кто побежит.

И вдруг как задрожит германец, как обернется взад.

Тут я в него и стрельнул.

И вспомнил сразу свою мыслишку.

Подполз к нему, пошарил по карману—противно. Ну да ничего, перевозмог себя, вынул кобаньей кожи бумажник, вынул часишки в футляре (немцы все в футляре часишки носят), взвалил пулемет на плечо и на верех.

Дошел до проволоки—нету лаза.

Мыслимо ли в темноте найти?

Стал я через проволоку продираться—трудно.

Может быть час или больше лез, всю прорвал себе спину и руки совсем изувечил.

Да только все-таки пролез.

Вздохнул я тут спокойно, залез в траву, стал себе руки перевязывать—кровь так и льет.

И забыл совсем, чума меня возьми, что я в германской еще стороне, и уже светает.

И хотел было бежать, да тут немцы тревогу подняли, нашли, видимо, у себя беспорядки, открыли по-русским огонь и, конечно, поползи я, тут бы меня приметили и убили.

А место, смотрю, вполне открытое было и подальше даже и травы нет, а до халуп шагов триста.

Ну, думаю, каюк-компания, лежи теперь, Назар Ильич, господин Синебрюхов, благо трава скрывает.

Хорошо. Лежу.

А немцы может быть очень обиделись—метят—стреляют почем зря.

К полдню перестали стрелять, да только смотрю, чуть кто проявится в нашей русской стороне, так они туда и метят.

Ну, значит, думаю, безусловно они настороже и нужно лежать до вечера.

Хорошо-с.

Лежу час. И два лежу. Интересуюсь бумажником... Денег не мало, только все заграничные..., Часиками любуюсь.

А солнце прямо так и бьет в голову, и дух у мене замирать начал. И жажда.

Стал я тут думать про Викторию Казимировну, только, смотрю сверху на мене ворон спускается.

Я лежу живой, а он может думает, что я падаль и спускается.

Я на него тихохонько шикаю.

— Ш, — говорю,—пошел, провал тебя возьми.

Машу рукой, а он, может быть, не верит и прямо на мене наседает.

И ведь такая птичья сволочь—прямо на грудь садится, а поймать никак не поймаю—руки изувечены, не гнутся, а он еще бьется больно клювом и крылами.

Я отмахнусь—он взлетит и опять рядом сядит, а потом обратно на меня стремится и шипит даже. Кровь, гадюка, на руках чует.

Ну, думаю, пропал, Назар Ильич господин Синебрюхов. Пузя не тронула, а тут птичья нечисть, прости Господи, губит человека зря.

Немцы безусловно сейчас заприметят, что такое приключилось за проволокой.

А приключилось: ворон при жизни человека жрет.

Бились так мы долго. Я все наровлю его ударить, да только махать перед германцем остерегаюсь, а сам прямо таки чуть не плачу. Руки у мене и так-то изувечены — кровь текет, а тут еще он щиплет.

И такая злоба к нему напала, только он мене устремился, как я на него прыгну.

— Кышь,—говорю, сволочь паршивая.

Крикнул и безусловно немцы сразу услышали.

Смотрю, ползут германцы к проволоке.

Вскочил я на ноги. Бегу. Винтовка по ногам бьется, а пулемет на земь тянет.

Закричали тут немцы, стали по мне стрелять, а я и к земле не припадаю—бегу.

И как я добежал до первых халуп, прямо скажу, не знаю.

Только добежал—смотрю с плеча кровь льет ранен.

Тут за халупами шаг за шагом дошел до своих и скосился замертво.

А очнулся, запомнил, в обозе, в полковом околодке.

Только хвать похвать за карман—часники тут, а кабиньего бумажника как и не бывало.

Толи я на месте его оставил—ворон спрятат помешал, толи выкрали санитары.

Заплакал я прегорько. Махнул на все рукой и стал поправляться.

Только узнаю: живет у прапорщика Лапушкина здесь, в обозе, прелестная полячка Виктория Казимировна.

Хорошо-с.

Прошла, может быть, неделя, наградили меня Георгием и являюсь я в таком виде к прапорщику Лапушкину.

Вхожу в халупку.

— Вздравствуйте, говорю,—ваше высокоблагородие и вздравствуйте пожалуйста, прелестная полячка Виктория Казимировна.

Тут, смотрю, смутились они оба.

А он встает, ее заслоняет.

— Чего, говорит,—тебе надобно? Ты, говорит, давно мне примелькался, под окнами трешься. Ступай, говорит, курицын сын, так твою так то.

А я грудь вперед и гордо так отвечаю.

— Вы, говорю,—хоть и состоите в чине, а дело тут между прочим гражданское и имею я право разговаривать, как и всякий. Пусть, говорю, она прелестная полячка сама сделает нам выбор.

Как закричит он на мене.

— Ах ты,— кричит,—тамбовский водохлеб? Как же ты это смеешь? Снимай, говорит, Георгия, сейчас я тебя наверно ударю.

— Нет, говорю,—ваше высокоблагородие, руки, говорю, у вас короткие, а я, может быть, в боях кипяю и кровь проливаю.

А сам тем временем к двери и жду, что она, прелестная полячка, скажет.

Да только она молчит, за Лапушкину спину прячется.

Вздохнул я прегорько, плюнул на пол плевком и пошел себе.

Только вышел за дверь—слышу кто-й-то ножками топчит.

Смотрю: Виктория Казимировна бежит, к плеч роняет трикотажный платочек.

Подбежала она ко мне, в руку вцепилась цапастенькими коготками, а сама и слова не может молвить.

Только может быть секундочка прошла—целует прелестными губами в руку и сама такое:

— Низынько кланяюсь вам, Назар Ильич господин Синебрюхов . . . Простите меня такую-то для ради Бога, да только судьба у нас разная.

Хотел я было упасть тут же, хотел сказать что нибудь . . . да только вспомнил как ворон надо мной летал . . . Эх перевозмог себя!

Нет,— говорю,— тебе, прелестная полячка, прощенья во веки веков

Сентябрь 1921 *Мих. Зощенко.*

Лев Лунц.

В ПУСТЫНЕ.

Рассказ.

I.

Ночью, разведя вокруг лагеря костры, они спали в шатрах. А утром,—голодные и злые,—шли дальше. Их было много: кто исчислит песок Иакова и сочтет множество Израиля? И каждый вел с собой скот свой, и жен своих, и детей своих. Было жарко и страшно. И днем было страшней, чем ночью, потому что днем было светло тем золотым и гладким светом, который в неизменности своей темней ночного мрака.

Было страшно и скучно. Нечего было делать—только итти и итти. От палящей скуки, от голода, от пустынной тоски, лишь бы чем-нибудь занять свои волосатые руки с тупыми пальцами,—крали друг у друга утварь, шкуры, скот, женщин, и укравших убивали. А потом мстили за убийства и убивали убивших. Не было воды, и было много крови. А впереди была земля, текущая молоком и медом.

Убежать было некуда. Отстававшие умирали. И Израиль полз дальше, сзади ползли звери пустыни, а впереди ползло время.

Души не было: ее сожгло солнце. Было одно тело, черное, сухое и сильное: бородатое лицо, которое ело и пило, ноги, которые шли, и руки, которые убивали, рвали мясо и обнимали женщин на ложе. Над Изра-

лем же многомилостивый и долготерпеливый, справедливый, благосклонный и истинный,—Бог,—черный и бородатый, как Израиль, мститель и убийца. А между Богом и Израилем—синее, гладкое, безбородое и страшное небо и Моисей, вождь Израиля, бесноватый.

II.

Кажый шестой день вечером трубили рога, и Израиль шел к Скинии Собрания и толпился перед большой палаткой из крученого виссона и разноцветной шерсти. А у жертвенника стоял Аарон, первосвященник,—черный и бородатый, в драгоценном ефоде,—кричал и плакал. Вкруг него сыны его, и внуки его, и родичи его из колена Леви,—черные и бородатые, в пурпуре и червле,—кричали и плакали. Израиль же,—черный и бородатый, в козьих шкурах, голодный и трусливый,—кричал и плакал.

А потом творили суд. На высокий помост всходил Моисей, бесноватый, говорящий с Богом и не умеющий говорить на языке Израиля. И на высоком помосте билось его тело, изо рта била пена, и с пеной были звуки, непонятные, но страшные. Израиль дрожал и выл, и, падая на колени, молил о прощении. Виновные каялись и каялись безвинные, потому что было страшно. И кающихся побивали каменьями. А потом шли дальше, в землю молока и меда.

III.

Когда трубили рога,

— золото, и серебро, и медь, шерсть голубую, и пурпуровую, и червленую, и виссон, и козью шерсть, и кожи баранья, окрашенные в красный цвет,

и кожи тахашевые, и дерево ситим, ароматы для елея помазания и для благовонных курений, и драгоценные камни, —

— нес Израиль к Скинии Собрания, когда трубили рога. Аарон же, и дети его, и внуки его, и родичи его из колена Леви, брали себе принесенное.

А у кого не было золота, пурпура и драгоценных камней,—тот нес блюда, и тарелки, и чаши, и кружки для возлияния, и все лучшее из елея, все лучшее из винограда и хлеба, и хлеба пресные, и хлеба квашеные, и лепешки, помазанные елеем, и баранов, и телцов, и овнов.

А у кого не было ни елея, ни винограда, ни скота, ни утвари,—того убивали.

IV.

Когда же не было больше сил идти, когда песок сжигал ступни и солнце кожу, а воды не было, когда ели ослятину, и пили ослиную мочу,—тогда Израиль шел к Моисею и плакал и грозил: «Кто накормит нас мясом и напоит нас водой? Мы помним рыбу, которую ели в Египте, и огурцы, и дыни, и лук, и ребристый лук, и чеснок. Куда ты ведешь нас? Где эта страна, текущая молоком и медом? Где твой Бог, который ведет нас? Мы не хотим бояться его. Мы хотим идти назад, в Египет». И в ответ Моисей, вождь Израиля, косноватый, бился на помосте, изо рта его била пена, и были бранные слова, непонятные, но страшные. Аарон же, брат его, в пурпуре и червле, стоял рядом и грозил и кричал: «Убейте ропщущих!» И ропщущих убивали.

Если же продолжал Израиль роптать и восклицал: «Разве мало того, что ты вывел нас из земли Египетской, чтобы погубить нас в пустыне? А в землю, теку-

щую молоком и медом ты не привел нас, и виноградников и полей не дал нам. Мы не пойдем, нет, не пойдем!» — тогда говорил Аарон, родичам своим из колена Леви: «обнажите мечи и пройдите среди народа». И обнажали сыны колена Леви мечи и проходили среди народа и каждого стоящего на пути убивали. Израиль же кричал и плакал от страха, потому что Моисей говорил с Богом, а у левитов были мечи.

А потом подымались и шли дальше в землю молока и меда. И годы ползли, как полз Израиль, и Израиль полз, как ползли годы.

V.

Если встречали по дороге племя или народ, то его убивали. Рвали жадно, по звериному, и, разорвав, ползли дальше. А сзади ползли звери пустыни, и рвали и жрали остатки народа жадно, как Израиль.

Едоамитян, а моавитян, и васанитян, и аморейцев втерли в песок. Жертвенники их разорили, и высоты их разрушили, и священные дерева их срубили. И никого не оставляли в живых. А добро, и скот, и женщин брали себе и, насладившись женщиной ночью, на утро убивали ее. У беременной распарывали чрево и убивали плод, а женщину брали себе до утра, — утром же убивали. И все лучшее из утвари, из скота и из женщин брало себе колено Леви.

VI.

Годы ползли, как полз Израиль. И вместе с годами и с Израилем ползли голод, и жажда, и страх, и ярость. Нечего было нести к Скинии Собрания, когда трубили рога. И Израиль убивал скот свой и нес его к Аарону и родичам его из колена Леви. Тех же, кто приходил

с пустыми руками,—убивали. И все чаще шел Израиль к Моисею и кричал и роптал, и все чаще обнажали сыны колена Леви мечи и проходили среди народа. И росли дети, и годы, и страх, и голод.

VII.

И было раз. И вот встретил Израиль мадианитян. И был великий бой. Финеес же, сын Елеазара, сына Аарона, первосвященника, вел Израиль, и священные сосуды и трубы для тревоги были в руках его. И победил Израиль и, победив, неистовствовал. А потом делил скот и женщин. И лучшее стадо, и лучшую женщину взял себе Финеес, внук первосвященника.

И было утром. И вот насладился Финеес женщиной и взял меч свой, чтоб убить ее. А женщина лежала нагая. И не мог убить ее Финеес. И вышел он из шатра, и позвал раба и, дав ему меч, сказал: «войди в шатер и убей женщину». И сказал раб: «хорошо, я убью женщину» и вошел в шатер. И вот прошло время, и сказал Финеес другому рабу: «войди в шатер и убей женщину и того, кто лежит с ней». И потом сказал это третьему, и четвертому, и пятому рабу. И они говорили: «хорошо» и входили в шатер. И вот прошло время, и никто не вышел из шатра. Тогда вошел Финеес в шатер, и вот рабы на полу убитые, вошедший же последним лежит с женщиной. И взял Финеес меч и убил раба и хотел убить женщину. А женщина лежала нагая. И не мог убить ее Финеес и пошел и лег у входа в Скинию Собрания.

VIII.

И началось великое безумие и блуд в Израиле. Потому что женщина лежала на ложе, а сыны Израиле-

ли убивали друг друга у входа в шатер, и победивший ложился с женщиной. И когда выходил он из шатра,— его убивали.

Так проходил день, и за днем тьма, и за тьмой снова день, и за днем снова тьма. Не было хлеба, но никто не роптал, не было воды, но никто не жаждал.

А на шестой день вечером не затрубили рога, и Израиль не пошел к Скинии Собрания, но толпился вокруг шатра Финееса, сына Елеазара. Финеес же лежал у входа в Скинию Собрания.

И отошел седьмой день, день субботний, и не собрался Израиль у Скинии Собрания, и не принес приношений. И приходили сыны колена Леви, чтобы убить женщину, но убивали друг друга, и победивший ложился с женщиной.

А Моисей, косноватый, бился на помосте и кричал, и изрыгал пену и бранные слова, но никто не слушал его.

А Финеес, сын Елеазара, лежал у входа в Скинию Собрания, но никто не смотрел на него.

И стан Израиля не полз дальше в страну, текущую молоком и медом, но стал. И стали звери пустыни, ползущие за ним, и стало время.

IX.

И было на десятый день, и вот вышла женщина из шатра и пошла по стану нагая. Израиль же полз за ней по песку и целовал следы ее ног. И сказала женщина: «разрушьте жертвенники Бога вашего и постройте высоты Ваалу Фегоре, потому что он истинный бог». И разрушил Израиль жертвенники Бога своего и построил высоты Ваалу Фегоре. И пошла женщина к Скинии Собрания, но у входа в Скинию лежал

Финеес, сын Елеазара. И не решилась женщина войти в Скинию, но сказала: «что лежишь здесь, точно пес пустынный? Приходи ко мне в шатер свой и ложись со мной». И сказала еще: «ударьте этого человека!» И вышел Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова, и ударил Финееса ногой. И пошла женщина в шатер. И Зимри, сын Салу, пошел за ней.

И было вечером. И вот встал Финеес, сын Елеазара, и пошел в шатер свой, чтобы лечь с женщиной. И увидел Израиль, что идет Финеес и расступился перед ним. И вошел Финеес в шатер, в руке же его—копье. И вот женщина лежит на ложе нагая, и на ней Зимри, сын Салу, нагой. И ударил его Финеес, сын Елеазара, копьем выше крестца и пронзил чрево его, и чрево женщины, и вонзилось копье в ложе. Тогда опрокинул Финеес шатер, и увидел Израиль женщину и Зимри, сына Салу, голых и приневоленных к ложу, и завыл, и заплакал. А Финеес, сын Елеазара, сына Аарона, первосвященника, пошел и лег у входа в Скинию Собрания

X.

И было утром. И вот нет хлеба, и нет мяса, и нет воды. И проснулся голод, и жажда, и страх, и ярость. И пошел Израиль к Моисею, бесноватому, и сказал ему: «кто накормит нас мясом и напоит нас водой? Мы помним рыбу, которую ели в Египте, и огурцы, и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. Зачем ты привел нас в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? А в землю, текущую молоком и медом, ты не привел нас. Мы не пойдем, нет, не пойдем«. И в ответ Моисей, говорящий с Богом, бился на помосте, изо рта его била пена, и были бранные непонятные слова. И встал Аарон, первосвященник, и сказал сынам колена

Леви: «обнажите мечи и пройдите по стану». И обнажили сыны колена Леви мечи и прошли по стану и каждого, кто стоял на пути, убивали.

И было вечером. И вот встал Израиль и поползъ в землю, текущую молоком и медом, впереди ползло время, и сзади ползли звери пустыни, и ползла тьма.

Финеес же, сын Елеазара, шел последним и, идя, оборачивался. И вот сзади женщина и Зимри, сын Салу, начальник колена Симеонова, голые и пригвожденные к ложу.

А над Израилем, и над временем, и над страной, текущей молоком и медом,—черный и бородатый, как Израиль, мститель и убийца,—Бог,—многомилостивый и долготерпеливый, справедливый, благосклонный и истинный.

Март. 1921 года.

Лев Лунц.

«СИНИЙ ЗВЕРЮШКА».

Рассказ.

I.

В селе Нелашовом у Ерьмы дом—пятистенный. Хозяйство в нем вела сестра Ерьмы, Степанида, сам Ерьма в нем не жил, все бродил по волости и каждое село для него свою работу имело: в одном сапожную, в другом кузнечную, а в третьем самогонку гнал. А то в лесах зверя бил. В Нелашево же Ерьма приходил с послухами.

Глаз у Ерьмы зеленый, плесенью подернулся, грудь косая, точно погнули ее, а живот как у бабы, большой и пухлый.

В германскую войну идет Ерьма селом, пахнет от него болотом, ногу за ногу зацепляет, а сам говорит:

— Немец нашу волость под себя брать отказался, потому в ней охотников много, а охотники по его мастеровому делу не требуются, под турку отойдем . . .

А в революцию свое заговорил:

— Мысель имею тяжелую и выбросить ее из себя не знаю где! . .

Встретил Кондратий Никифорович однажды Ерьму у поскотины и спросил:

— Как живешь, Ерьма?

Идет человечек и глазами поет.

— Я-то,—говорит,—я, Кондратий Никифорович, живу плоха!

Сказал и на толстое тело Кондратия Никифоровича, как на лесину, облокотился. Кондратий Никифорович уважал себя, и потому отодвинулся.

— К себе идешь?

— Домашность проведать надо, Кондратий Никифорович.

Кондратий Никифорович идет и щупает: камень под ногой, лесины и землю. Говорит хозяйственно:

— Хорошая лесина, народу избы рубить крепкие можна.

А про камень:

— Хороший камень, душевный. И он понадобится, скажем, литовки точить...

Все хвалит и на себя глядит с удовольствием. Толстый и низкий он, как стог сена, рук от тела не видно, а нога где-то в брюхе спрятана.

Ерьма от него поодаль и промеж листьев на небо смотрит: не то на птицу, не то на вычеканенный березой по небу узорный лист.

Живу плохо,—говорит Ерьма,—жалаю мучинечиства.

— Ты-то?

— Я, Конратий Никифорович, неприменно я, потому окромя меня кому охота?

— Эта верна, окромя тебя на мучинство кто пойдет.

— Неприменна!

Подумал Ерьма об Кондратие Никифоровиче и сказал:

— Ладное у те имя-то, длинное, а я, брат, длинные имена люблю: здоровово мужика сразу видна... А от вас я се таки убреду!

— Ступай в Расею, там тебе мучениства сколь хошь припасено.

— Оно и Сибирь-земля не оскудела.

— Бают, в Расеи-то совсем плоха живут, и еда неприемтна и люди совсем по особому растут, косят, как дерево гнилое . . .

— Брешут!

Кондратий Никифорович пощупал березу, понюхал лист и сказал:

— Ядреная ось получится, надоть мужикам сказать. А может и брешут, Ерьма, про Расею-то?

— Обязательно.

Мне все одно, брешут ли, правду ли бают . . .

— Вот приет она сюды, почуешь.

— Кто?

— Кумыняя, скажем, и другие колки.

К нам она придти не может, потому окромя тебя нет по нашей волости страдателя. А мы робить хочим и насчет того, чтоб восем часов в сутки жить, другим рассказывай, чемерь тебя притисни! . .

Кондратий Никифорович, с непривычки говорить долго, вздохнул:

— А может и брешут на него, никаких кумыняй нету, жрать хочет, ну и выдумал. Оно для еды-то не токмо Кумыняю придумаешь, тут тебе все на голову полезет . . .

Ерьма же запустил в пыль проворные ноги, торопится, а глаз у него как только что распустившийся листочек зеленый, липкий и блестящий:

— Жалаю я об других заботиться и никаких!

Хвоя летит с сосны за ворота растегнутых рубах. Горы гудят за соснами и песок пахнет смолой и солнцем.

Кондратий Никифорович оглянулся округ медленно и степенно, похвалил все:

— В самую пору жарит, так и надо. Одобряю.

Жалко ему стало Ерьмы, далеким родственником тот приходился, сказал:

— Пойдем, самогонкой угощу.

II.

— Домой я идти не желаю,—говорит Ерьма,—есть у меня теперь такой манер, что кроме человечьего горя никаких мыслей . . .

Дом у Кондратия Никифоровича тоже толстый и низкий, как хозяин.

Кондратий Никифорович сидит на скамье у стены, голова у него от волосу синяя и словно пук шерсти на плечах, голос тоже лохмат и сиповатостью отдает.

Баба у него толстая, жирная, и тело ее в ткани яркие обернуто: желтые, синие, красные.

Ерьме на них глядеть хмельно и мутно, пьет он стаканами самогонку и хмелеет с ног: вверх за каждым стаканом вершками тело пьянеет. Что не стакан, то и три вершка.

А Кондратий Никифорович говорит неторопливо, и мысль у него внутри, как мышь в полном закроме, лениво шмыгает:

— Живи, Ерьма, хватит. В город поедем, чего хошь менять будем. Ноне город наш—взяли . . .

И ноги у него от смеха танцуют, а на туловище и лице тьма.

Тошно Ерьме, а уйти сил нет.

— В город я сам явлюсь, к народу, там таких много, что жадают о других заботиться, а не толь о себе.

— Ступай, человек ты сдришной. Нам ничего не надо.

И вруг по столу ударила его рука — толстая, и жилы на ней как змеи.

— А только придешь, стерва! Назад придешь!

— Не приду.

Ерьме муторно, а тут еще из под голбца дух кислый идет, не то псина, не то квас пригнивший.

— Чего там?—спросил Ерьма.

— А это, парень,—и цвякнул губами Кондратий Никифорович.—А эта, будет зверюшка . . . синяя . . .

Точно: ползет из-под голбца по крашеному желтому полу, по лоскутному цветному половику зверюшка. Кошка не кошка, но породы кошачьей, ростом с собаченку, ус у ней кошачий, мурлычет по кошачьему, а глаз не поймешь какого цвету, только совсем человечий.

— Из Зайсану привезли, киргизы ымали, они их китайцам продают, счастье в дом приносит, домашний зверь . . .

— Вонь от нево, рукавицы из него сделать могу,— говорит Ерьма.

Кондратий Никифорович сказал:

Потерял корову, две недели отыскать не могли, а тут как появилась, нашлась. Для счастья обязательно в избе каку-нибудь . . .

И губами повел лениво:

— Цвы . . . цвы . . .

Кинул ей кусок мяса и зверюшка изгибая спину и комкая над половиком лапу, впилась зубом в мясо.

Муторно Ерьме, непонятно тоскливо: и от кошки огромной, от запаха псины.

На другой лавке жена Кондратия Никифоровича сидит, и тоже соловым глазом за зверюшкой следит и губы у нее красные и потные.

Грузен земляной хозяин, Кондратий Никифорович и голос у него тоже грузный:

— Прыткий зверь . . . зверя я люблю, Ерьма, душа у меня ленивая . . . а он-то прыток . . .

Дышет изба на Ерьму хлебом и псиной, хозяин самогонкой, а за окнами такая же изба и небо, как старый рваный половик, и гор в окно не видно.

Ерьма встал, душа у него точно ослепла и губы как каменные, не гнутся:

— Пойду! . . уйду я от вас! . .

Молчит хозяин, зверюшка у его ног бьется с мясом. Закрыл глаза Кондратий Никифорович, а у зверюшки цветное око—непонятное и человеческое.

Со злостью сказал Ерьма:

— Ишь, жрет! . .

Пошел через сени, а в сенях баба Кондратия Никифоровича уже на кровати лежит, и от тела ее тоже дух идет—виски от него потекут и между пальцев слизь.

— Женись,—говорит она Ерьме,—невесту найдем! . .

Вышел за ворота Ерьма, высморкался.

За избами на небе лежат отдыхая горы, за горами пойдут то́пи, за то́пями луга, а там Иртыш, а дальше города . . .

Избы пахнут травами, заборы пахнут лесами, а земля мясным скотским духом и хлебом.

Ерьма вздохнул, изогнув свою косую грудь:

— А уйду, ей-Богу, уйду! . .

III.

И Ерьма ушел.

До этого долго ходил поселком, жалобился:

— Тижало мне, братцы, ухожу я... Жалко мне вас, а ничо не поделаю с собой...

Мужики смотрели хмуро, молчали, только шаг у них делался тверже и тяжелей.

Пошел Ерьма горами на Селяжные топи.

Гора здесь растет выше неба, а мужики словно не видят ее, «камень» говорят. А на камне том—лес, а промеж лесу зверь: от птахи до мамонта, хотя мамон—зверь теперь, говорят, невидим и из него, когда он заболеет, один клык валится.

Идет Ерьма, сапогом меж скал шебуршит, сухой сам, только брюхо у него бабье, и при народе постоянно урчит.

Котелок сбоку медный—солдат умерший подарил, берданка пулей заряжена и сам Ерьма, как ружье, радостью заряжен:

— Пошел!.. пошел!..

Посвистывает и оглядывается:

Камень пророс в небо — голый, без трав, и вспомнил Ерьма синюю зверюшку, здесь в камнях ее поймали.

И кажется, пахнут камни псиной, одна лишь сосна радостно и широко в воздух опираясь дышет смолой.

Ласково греет земля, влажными парами пахнущими земляникой.

Также ласково течет по телу из-по мышек теплыми веревочками пот.

Ветер посвистывает в дуло ружья, трясет котелок.—Чудашливый ветер, тоже теплый и по-своему ласковый.

Ерьма ухмыляется, доволен:

— Пошел, парень, пошел!

Жалко было сестру, все углы в доме оплакала Степанида, пошел Ерьма на сход и завещание на ее имя составил:

— Хоть и общее теперь все, а во́лодей на мою голову!..

Еще сильнее залилась сестра, воем-воет и на день раньше срока ушел от плачу ее Ерьма:

— Не могу слезы терпеть...

Камень лежит сплошь гладкий, посидеть на нем тепло и ласково.

Закурит, отдыхая, и думает:

— Через неделю в городе буду. Значит, топи пройду, луга там, а потом Иртышом до городу.

И мысли, как цыплята под наседку, густо набиваются в голову—хорошие и нужные.

Ерьма доволен:

— Благодать!..

Небо мягкое и не жаркое, прохладное; лес с тягучим медвяным шумом и камни теплые и удобные для человека, и тропа как старый половик—знакома. Все благодатно.

Сплюнет Ерьма на сапог—востроносый, потрескавшийся сапог, и плевок на нем как пятиалтынный лежит.

Весело Ерьме:

— Ушел, Кондратий Никифорович, ушел!

В падях, там позади—темные и душные избы и люди в них как мухи запеченные в хлеб.

И широко и крепко оседает лавка под грузным телом Кондратия Никифоровича и подле ползет и шипит шерстью синяя зверюшка с хитрой человеческой зеницей.

Любит их Ерьма и немного жалко—остались там, и к чему неизвестно.

Вскакивает Ерьма, идет дальше.

Так шел меж камней полтора дня.

На второй день, утром, встал раным-рано, каждый день вставал все раньше и раньше,—далеко до восхода.

Идет—тропа синяя, но теплая, еще за ночь не ушло тепло из нее.

Истомленно ложится трава и шиповник, пьяные от сна. Камни тоже полупроснулись, хлюпают. И медленно и шумно потягиваются дальше горы.

Затрещал вдруг кустарник вверху тропы—словно кто воз хворосту уронил, и глядит Ерьма—на тропе медведь. Темный весь, заспанный и головой трясет, словно не доволен тем, что разбудили.

Стоит и не шевелится, и зачем выволокся на тропу—сам не знает, а уйти должно быть лень.

— Ну, ты!—крикнул Ерьма и не понимает, как ему надо на зверя кричать, чтоб ушел тот.

Никогда на медведя не кричал.

— Уходи, что ли, ты . . .

Стрелять приходилось, а прогонять—как его прогонишь? И неожиданно крикнул Ерьма:

— Цыля!

Словно засмеялся так про себя зверь нутром и провел лапой по тропе.

А солнце уже встает и видно у медведя ленивый взгляд.

Сдернул Ерьма ружье и для страху больше выстрелил.

По смешному перекувыркнулся медведь на тропе и растянулся, как сытая собака, на солнце.

Ерьма подошел, смотрит—убит.

И стало ему страшно.

А вокруг такие же теплые горы и ветер с деревьев на тропу кидается, волосы у Ерьмы к земле пригибает и страшно ему—почему так сразу и без причины умер зверь?

Только из глаза у него кровь идет, будто кровью плачет. Оно так и есть, только кровью умеет плакать зверь.

Сунул Ерьма руку в карман, там нож лежит для обдиранья и косточка мамонтовая, чтобы шкуру легче с мяса подымать.

Присел подле медведя и начал свежевать.

А потом поднял шкуру на плечи и повернулся в поселок. Где, кроме поселка, продашь шкуру, и где случаем похвастаешься?

— Ушел?—спросил медленным тягучим голосом Кондратий Никифорович у Ерьмы и на шкуру медвежью не смотрит, словно сам послал ему медведя.— Ушел?

На голбце синий зверюшка спину гнет и водит за Ерьмой хитрым звериным глазом. Прыгнул он с голбца и с полпрыжка о сапог Ерьмы ударился, мурлычет, усом по колену щекочет—мясом медвежьим пахнет от Ерьмы.

Под образами. Кондратий Никифорович сидит и губы у него, как пласты подымаемой плугом новины, медленно шевелятся:

— Медведь, ноне добрый, крепкий медведь растет!

И боязно до истомы и слабости стало здесь Ерьме и думается ему, что точно он, Кондратий Никифорович, земляной хозяин, выпустил на Ерьму медведя.

Но осиливая себя—крепко сказал Ерьма:

— А уйду я, Кондратий Никифорович, все равно уйду.

Посмотрел на его ноги и похвалил:

— Мужик ты, Ерьма, хороший, и куда надо уйдешь.

Подала на стол баба жирные, точно из одного сала, желтые щи и на тарелке цветной красное мясо.

А лицо и платье у бабы тоже цветные. Губы неподвижные и мокрые и смеется она не трогая их:

— Хе, хе, хе...

IV.

И опять ушел Ерьма.

Думал сначала он—не буду брать ружья с собою—не надо. Но одна вещь на свете у него оставалась:—ружье, а без вещей человеку жить стыдно. Пришлось взять. Думал не заряжать, а зарядил.

Идет—зеленый зрачок его на земле и уже ничто не радует. Приходят в голову длинные и скучные дедовы молитвы и начинает Ерьма богохульствовать, но от этого еще острее ноет сердце, а то как птица под ножом затрепещется и скажет Ерьма:

— Уйду, уйду...

На горы, на кустарники и сосны не смотрит.

Земля под ногой печалится, сохнет, из-за каждого камня ждет он вот выдет «оно» зверем ли, человеком ли, но не пустит от своих земель.

Но никого нету.

Так он горы прошел, спизился, вышел на Селяжные топи и схлынула здесь печаль с сердца, опять в себя поверил, зашагал быстрее.

А кругом кочка, сопра с березняком. Смородиной да осокой пахнет и смородина огромная, с воробьиные яйца и ряснай, как во сне.

Кочка же в человеческий рост, в осоке, как мужик в волосах. Вода промеж кочек зеленая, от травы не отличишь, просто текучая вода и сытная вода. никак нельзя больше глотка выпить.

Дорога—гать, уложена валежником, лесиной старой, под ногой пляшет, хлюпает, плачет, вся-то она запуталась, в нездоровых и острых болотных травах.

Итти Ерьме трудно, но весело и нужно под ногу смотреть.

Так шел он и под ногами лесины прыгающие смотрел.

Как вдруг чует он на бороде теплое и влажное дыханье:

Отскочил он назад и смотрит—лошаденка стоит, брюхастая и лохматая, крестьянская лошаденка. Узда на ней веревочная, хомут тряпичный. Одно ухо драное, а на носу сидит такой зеленый ядреный овод, будто сто лет тут сидел.

Хохочут за лошаденкой в телеге.

Отвел он потную лошадиную морду в сторону, видит в теле—девка, молодая, на лицо не знакомая. От комаров должно быть мешком закрывается и хохочет:

— Тебя откуда выперло-то!—кричит.—Болотный ты, что, леший! Чуть Игреньку-то в болото не упер!..

Молчит Ерьма, боком прошел мимо оглобли, хотел было обойти телегу—никак нельзя, нет кочек, вода зеленая, табаком пахнет, а телега весь проход занимает.

— Через телегу перелезай,—кричит девка,—да, смотри, меня не пачкай, ишь из болота вылез!

Протягивает Ерьме руку, помощь.

Молчит Ерьма, руку не берет и мимо девки по облучку.

Сбросила девка мешок, хохочет. Лицо свежее, комарами слегка покусанное, а на груди кофточка лопнула и тело ситец рвет.

Жар затопился в груди у Ерьмы, как в теплую воду окунулся весь и с телеги спрыгнуть нет сил.

— Подвезу,—кричит девка,—я к дяде еду. В Невашово Кондратия Никифоровича знаешь?.. Лешай!..

И лошадь хворостиной бьет.

Спрыгнул Ерьма и пошел от телеги дальше в топь.

— Лешай, ты лешай—чего молчишь?—крикнула девка и хохочет.

Думает Ерьма:

— «Может и впрямь поехать?.. Какова праха в городах-то не зрил, а? Девка что-ж, как и все, может покрепче других, она-то причем.

Остановился, подумал, но искурив трубку, пошел.

Опять глядит под ноги, на бревна гнилые, хворостины, на березняк известкой вымазанный.

А кочки выше, теснее, березняк ближе подходит и запахло уже грибом—скоро топям конец. Прогалники пошли, песок на них заблестел и ветер дует не гнилой, болотный, а теплый от гладкой воды.

Обрадовался Ерьма:

— Уйду!..

И вторую трубку только закурил, как опять в березняке хруст такой же, как там, в горах.

Сорвалось сердце, куда-то в пади упало, а в глазах тьма. Руки—и табак и трубку выпустили.

На колеях дороги—кабан. Морда в пене, правая сторона ее лысая, старый кабан, и клык аж сера. Хрюкает и мелким шажком на Ерьму.

— Задерет!..—сказал изомлевая опять Ерьма.

Со злобой сдернул ружьишко, зажмурился, со слезами на веках выстрелил—стряхнулись от выстрела слезы.

И, конечно, мертв лежит зверь—будто давно кто его положил. Даже песок бугорочком у бурой щетины и на клыке трава выкорчевана, должно быть, когда падал, выкорчевнул.

Вернулся Ерьма в Невашево.

Где мужики подвезли, где сам волок, но притащил Ерьма кабана к Кондратию Никифоровичу и сказал:

— Отдай зверюшку . . . вот кабана возьми . . . берданку отдам еще.

Толст и крепок Кондратий Никифорович, слова подымаются у него медленно, от носа к губам и слова все грубые, как Ирбитские телеги и такие же крепкие.

— Ядрена мать! Куды тебе ее?

— Кончу! . . сердце не терпит! . .

Помолчал Кондратий Никифорович. Голова у него маленькая от волосу синяя, а зверюшка тоже вся синей мягкой шерсти, гнется на голбце.

— Не могу, парень, потому душа у меня проворная, а зверь ён хитрой.

— Ладно,—сказал туго Ерьма,—а я все-таки уйду!

Промолчал Кондратий Никифорович.

V.

На третий поход горы Черноиртышские и топи Селяжные прошел Ерьма безостановочно и на луга к Иртышу вышел.

Шел по горам и топям с тоской и опаской. Млела душа и вера уходила, а все же задорно говорил:

— Уйду, Кондратий Никифорович, уйду.

Песками вышел Ерьма к Иртышу, а у берега топкая и вязкая глина—вся нога уходит. Захотел Ерьма напиться. Спустился по талине к воде,—атон тут, камыш с коричневыми балаболками рос. Ухватился Ерьма за талину, наклонился—балаболка ему в лицо лезет. Отломил ее, но не совсем, а так надломил и откинул.

Иртышь широкий лежит, а мимо его пески, тополя, поселки плывут. Песок желтый, а поселки темные, и точно галькь накиданы по песку, тополь же—сирота,—неприметен и дрожит всегда.

Напился Ерьма, встряхнулся, и пошел быстро средь тальников.

Больно задела ветвь по глазам.

Отвел зеленый глаз от реки, на себя заглянул—тонкое, жилистое тело, а живот хлипкий, бабий и ноги переплетаются, месят глину. Котелок поет у пояса, ружье тяжелое. И болью в голове отдалось:

— Куда, Ерьма?

Вспотели плечи и внутри точно вспотело все, заглянул Ерьма себе под ноги, а под ногами, впереди—звериный, круглый полузатянутый глиной след, но свежий еще.

Понял здесь Ерьма: последнего зверя надо убить, а потом дойдет—потом город, и мученичество там и счастье.

Скинул Ерьма ружье, патрон попробовал и пригнувшись, легкой, охотничьей походкой, пошел по следу.

Несет от Иртыша влагой, тальник илом и прошлогодними травами, от наводнения облепляет. На сапогах вязкая, тяжелая, как железо, глина. И тело оттого тоже точно глиной набитое тяжелеет и только рука легкая и ружья не чует.

Идет Ерьма, торопится—последний зверь, конец всему за этим зверем.

А след все шире, свежее, пятно от пятна дальше и все к Иртышу ближе.

— Сейчас!.. бормочет Ерьма,—сейчас!..

И берданку к плечу вскидывает—пуля крепкая, порох английский—хоть какого зверя возьмет.

Идет след к воде, к затону, к камышам.

Торопится Ерьма по нему. Вот камыш, тальник над водой, ветка в грязи лежит втоптанная—чтоб лучше к воде было наклоняться и над водой надломленная коричневая камышиная балаболка.

И след тут один, его Ерьмы, след, и никаких зверей больше нету. Длинный след человеческий.

... Посмотрел Ерьма на след, бросил берданку в грязь и повернул от Иртыша к топям Селяжным, на старую дорогу...

Все таков же Кондратий Никифорович,—толст, широк, как стог сена и голос у него сухими травами и черноземами пахнет.

— Пришел, гришь?

У ног его об колено зверюшка трется, синяя зверюшка, с хитрым человечьим взглядом, смотрит на Ерьму.

Кондратий Никифорович говорит:

— Иди ко мне в работники. Харч у меня и обува добрая, а ты мужик хороший.

В тоске потухает и тлеет сердце у Ерьмы и глаза у него зеленые, влажные, как листья распускаются весной.

Молчит Ерьма...

Всев. Иванов.

Мих. Слонимский.

ДИКИЙ.

Рассказ.

Авраам был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сарра: смех сделал мне Бог; кто ни услышит обо мне, рассмеется. И сказала: кто сказал бы Аврааму: Сарра будет кормить детей грудью? ибо в старости его я родила сына".

Библия, 1 кн. Моисеева.

I.

Вот в эту книгу заказов вписаны все люди, каких знал в жизни портной Авраам Эпштейн, и наготу которых он покрывал одеждой, как Сим и Иафет покрыли наготу отца своего. Когда изменилась нагота людская, покрывал он одеждой уродства человеческие, чтобы не видел глаз рассеченного на войне тела.

Вот из этой толстой коричневой книги длинной чертой вычеркивал Авраам заказчика, когда костюм был сшит и долг был уплачен, или когда заказчик умирал.

В последние годы часто приходилось Аврааму вычеркивать из книги неоплатных должников. Вздев на высокий нос очки, садился Авраам вечером перед книгой заказов и, засветив керосиновую лампу, вычеркивал из книги имена людей. Спрашивал у Бога, кто будет вычеркнут завтра и думал о том, что с вычеркнутого заказчика уже никогда не получить долг.

В эти минуты, перед книгой заказов, думал Авраам о том, что ему идет уже 51-ый год, а жене его 25 лет, и что нет у них ни сына, ни дочери, и что прекратится древний род Эпштейна со смертью его, Авраама. А смерть может притти завтра, или ночью сегодня, или вот сейчас стукнет и войдет в дверь смерть. Умрет Авраам и истлеет его имя, как платье, поеденное молью.

И вот однажды, к ночи, выпив чаю с патокой, черной, как тьма Египетская, Авраам засветил керосиновую лампу и вычеркнул из книги всех должников и заказчиков. Закрыл книгу и долго молча сидел перед керосиновой лампой. А керосиновая лампа мигнула и темная тьма вошла в комнату.

Авраам думал:

— Нет мне утешения во тьме, нависшей надо мной. Стар я и нет у меня потомства. Ревекка бездетна и неплодна. Господи, пропаду я с лица земли, как колос тощий, не давший хлеба.

II.

На стене плакат. Огромный красноармеец размахнулся винтовкой, а на штыке трепещет толстый купчина. Штык воткнулся в спину и с кончика штыка каплет, густо нарисованная художником, кровь. Два года тому назад размахнулся красноармеец и два года трепещет вздетый на штык купчина. Два года тяжелым и грубым идолом сидит Иван Груда перед людьми, которые говорят с ним обрывающимся голосом. На голове его коричневая военная фуражка, ворот коричневой гимнастерки расстегнут, тугие зеленые обмотки обтянули ноги от колен до крепких рыжих ботинок. С десяти до четырех ежедневно сидит Иван Груда в комнате, замусоренной окурками.

В четыре часа Иван Груда отправился домой. Чтобы попасть в свою комнату, ему нужно было, отворив дверь квартиры ключом, пройти по длинному, всегда темному коридору, в середине которого стоял широкий и толстый комод. Об этот комод каждый раз Иван Груда стукался коленом и каждый раз выговаривал со злобой:

— А, ч-чорт!

И теперь он сказал:

— А, ч-чорт!

Накипая ненавистью, потер коленку, ударил в негодовании комод кулаком и ушиб кулак.

— Слушайте, почему вы до сих пор не убрали комод?

Из стены, которая оказалась дверью, ударила по коридору полоса света, и в полосу света вылезла до синя бритая голова. На круглом лице, у правой ноздри, пустила черный волос бородавка.

— Товарищ Груда, честное слово... Честное слово, товарищ Груда...

— Чтобы не было больше комода, а то...

Иван Груда прошел к себе в комнату, а голова с бородавкой поторчала еще в коридоре и скрылась. В коридоре опять стало темно.

В комнате у Ивана Груды—кровать, покрытая красным ватным одеялом, на коврике перед кроватью—туфли. Над кроватью фотография—мужчина с усами и в крахмальной манишке вытянулся, неестественно опираясь левой рукой о столик; с другой стороны столика врос в землю черный квадрат—женщина, тоже положившая руку на столик. На столике между мужчиной и женщиной—ваза с цветами. Это—родители Ивана Груды. Над родителями—бумажная роза.

Иван Груда скинул коричневую фуражку и оказалось, что рыжие волосы его взлохмачены и покрыты пылью.

Иван Груда растянулся на скрипнувшей кровати, под родительской фотографией, закинул широкие руки за голову и задремал.

III.

В мастерской Авраама Эпштейна появился новый заказчик, и густо пахло от него человеческим потом и сапогами.

— Сшей мне такой френч, чтобы всех людей...

А глаза у нового заказчика — как железные крючья, подымающие огромные грузы. Прицеплялись тяжелые крючья к каждому предмету в мастерской. Вот-вот поволокут на улицу последний сундук.

— Ой, господин, будет у вас хороший френч, такой френч, какого и у царя Давида не было.

А заказчик прицепился глазами к Ревекке.

— Слушай, портной, как будет готов френч, посылай свою красавицу ко мне. И на примерку посылай.

— Нельзя на мужскую примерку женщину, но если требует господин...

Авраам открыл книгу заказов и на новой не начатой странице вписал фамилию нового заказчика: Иван Груда. Вымерял заказчика сантиметром, сделал отметки против фамилии — ширина плеч, талии, длина рук и ног.

Потом, когда Иван Груда ушел, вынул из сундука лучшее сукно, офицерское, и проводил по сукну мелом черты с такой важностью, с какой патриарх Иаков определял двенадцать колен Израилевых. Когда был скроен френч, сказал жене:

— Ой, Ревекка, он—как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Ой, Ревекка, скажет он: это жена портного. И погибнет портной. Скажи же ему, что ты не жена мне, а дочь. Иди. Бог сохранит тебя в безопасности.

Оставшись один, Авраам долго сидел перед книгой заказов и смотрел на открытую сегодня страницу. За этим, первым, придут из многокомнатных зданий другие, такие же, как он, и покроет их Авраам одеждой, как покрыл тех, чьи имена вычеркнуты давно из книги.

IV.

Исполнилось так, как думал Авраам.

Кожа, складками повисшая на лице Авраама, снова натянулась как в те времена, когда он был молод. Мясо вросло между кожей и костью, и быстрая кровь оживила тело и душу. В книге заказов уже третья страница заполнялась именами новых людей.

А в комнате Ивана Груды, в конце темного корридора, многое можно увидеть в замочную скважину. Можно увидеть, как человек бродит, поглядывая на толстые серебряные часы с толстой серебряной цепочкой, глядит в окно, выгибаясь так, что видны только зеленые обмотки и крепкие рыжие ботинки; потом снова бродит по комнате и вдруг врастает в пол, застыв, как обросшая желто-зеленым мхом глыба. В этот момент нужно отскочить от двери и быстро спрятаться к себе в комнату, потому что человек услышал звонок и сейчас глыба сдвинется с места, загрохочет по корридору и второпях стукнется о комод. Потом, когда прошуршит за дверью, как и в прошлые разы, платье, и затихнут голоса—грубый мужской и певучий женский, нужно еще постоять, не шелохнувшись, минуту, не больше;

тихо-тихо отворить дверь, чтобы не скрипнула, и тихо-тихо, носками упирая в пол и качаясь на растопыренных из осторожности ногах, подняв ноги и балансируя руками, не дыша, пробраться в конец корридора и, изогнувшись, прижать к холодной двери лицо. Тело тут, в темном корридоре, а черный глаз бегает по комнате, как таракан, обшаривает женщину.

Хорошая женщина. Глаза и волосы черные, а лицо белое. Опавшее было лицо, когда в первый раз пришла женщина, и черные круги были под глазами, а теперь раздобрела. А мужчина—совсем интересный. Как пришит, не может отойти от женщины и все дотрагивается—к руке, к бокам, к спине. Женщина разворачивает сверток и скоро-скоро говорит, выпевая конец каждой фразы.

Потом мужчина, с удовольствием видимо, снимает гимнастерку и стоит в рубашке. Зеленые штаны подтянуты ремнем, рубашка чистая и нарочно расстегнута. Женщина надевает на мужчину неготовый еще френч, обдергивает и мелом делает пометки. У мужчины лицо красное, и он вертит головой. Руки ловят женщину, уже не стесняясь. Женщина сердится и говорит так быстро, что никто бы не понял.

Очень интересно смотреть в замочную скважину и наблюдать, как люди действуют, совсем не зная, что вот он, посторонний человек, все видит. Только хихикать не нужно—за дверью могут услышать. Не нужно хихикать. А ужасно хочется излиться «хи-хи-хи-хи». Особенно когда мужчина снимает френч и опять в расстегнутой рубашке ловит женщину и уговаривает. А женщина, отгораживаясь свертком, голосом на два тона выше и певуче растягивая слова, грозится. Если закричит—тогда вбежит он, человек с бородавкой,—и хи-хи!—встанет на защиту женской чести. Но мужчина

хмурится, потирает колено—это от комода—и бурчит неясное сквозь рыжие усы. Из шкафика в углу он вынимает кулек. Женщина кулек берет, сердито оправляет платье—и теперь нужно бежать от замочной скважины и у себя, на трепанном диванчике, отхихикиваться:—Хи-хи-хи-хи,—пока не засосет под ложечкой и не заноет плечо.

А в корридоре шаги уходящей женщины, и густая брань:

— Да когда, чорт возьми, вы комод, наконец, уберете?..

— Хи-хи-хи-хи...

— Эй, вы! Вы дома?

Теперь хихиканье нужно запрятать глубоко, чтобы только в животе булькало и колыхалось, подкатывая к груди и томя истомой.

— Нет дома. Чорт этакий!

Грузные шаги затихли в конце корридора, там, где хлопнула дверь.

Теперь можно опять хихикать.

V.

Однажды сказала Аврааму Ревекка:

— Упал сегодня господин Груда на колени, назвал жидовкой и хочет жениться на мне. Как мне теперь пойти к нему?

Задумался Авраам и решил:

— Пойди, Ревекка, и скажи ему, что он гой. Если хочет жениться, пусть примет еврейский закон. И вернись. И мы подумаем с тобой, Ревекка, как жить нам дальше в этом городе, где нет страха Божия. Только не говори, что ты мне жена, ой! не говори,—а не то погибнет портной. Он—как дикий осел: руки его на всех и руки всех на него.

Ночью тишина мешала спать Аврааму. Авраам лежал рядом с женой своей, высоко держа голову на подушке, и изредка вздыхал тяжело.

А на следующий день, в неурочное время, пошла Ревекка к Ивану Груде.

Ревекке дверь отворил человек с бородавкой. Был он без пиджака, в одном жилете на красную с белыми полосками рубашку.

— Нету дома их. Придут сейчас. Войдите, у меня подождите, посидите.

Ревекка помялась в темной передней, да человечек очень уж ласково уговаривал.

— Вы не смотрите, что у меня бородавка, хи-хи... Я не злой. Чаем угощу. Идемте.

Усадил на трепаный кожаный диванчик и засуетился по комнате, маленький, кругленький и быстрый.

— А вот у меня хлеб есть. А вот у меня масло. А вот сахар. Мы не какие-нибудь. Тоже советские служащие, в одном учреждении с ними служим и в партии— хи-хи—не состоим. Только они по хозяйственно-административному служат, а мы больше по жилищному, а по хозяйственно-административному наблюдаем, глазом наблюдаем, контролируем—хи-хи—насчет информации... А как же? Нужно сахар да масло красотке... Я разве не понимаю? хлеб, сахар, масло, крупа всякая...

Человечек кружился по комнате и вдруг медленно и важно вынес из какого-то угла пузатый самовар.

— А вот и самовар скипел. Попьем чай. Сахар—не стесняйтесь — в накладку. Не стесняйтесь...

Слова, круглые, как шарики, обкатывали Ревекку. Ревекка тянулась красными пухлыми губами к горячему чаю.

— А вы хлеб с маслом. Гуще маслом.

Человечек подкатился вплотную, по дивану, к Ревекке и обжег горячим мягким плечом. И черный волос колечком торчал у правой ноздри.

— Совсем девочка. Люблю девочек.

И в горле у человечка заиграло.

— Вы трудящая... понимаю. Я сам трудящий... по жилищному больше и глазом наблюдаю...

Спереди—стол, маленький, но прочный. Не выскочить из-за стола. Справа кожаная ручка дивана, трепанная, но прочная; слева горячий, как самовар, человечек. Полные мягкие руки ходят по женщине.

— А вот конфетка. Это нам в кооперативе выдали. Хотите в кооператив в наш? Да что вы трясетесь, девочка? Совсем еще девочка! У меня тепло—дрова, хотите дров? Сажень доставлю, собственный транспорт... Не бойтесь, девочка... Зачем же дергаться? Не нужно...

И вдруг самовар с грохотом опрокинулся на пол, и кипяток, шипя, паром пошел к потолку. Прочный столик треснул; масло, сахар, аккуратно нарезанный хлеб—все на обваренном полу среди осколков посуды.

— Ай, девочка, разве можно? Ай-ай-ай! Ведь нет теперь сахара! Зачем бояться? Ай, не пущу! Ай, не убежите! Ай, дверь запер!

Человечек задыхался, жилет расстегнут, рубашка тоже, видна мягкая белая грудь, поросшая курчавым черным волосом.

— Ай, разве можно? Ведь так обварить не долго...

У Ревекки зубы стучали—дрожала. Если бы самовар на нее опрокинулся, все равно ей было бы холодно.

— Ай, я не Груда! Нет, я не Груда! Пусть масло, пусть сахар, а я не пущу! Ай, не пущу!

Но тут неожиданное случилось. На маленького человечка налетела черная, с распущенными волосами, женщина, исцарапала лицо, исщипала плечи и руки,

опрокинула и по колыхающемуся податливому животу, визжа, кинулась за дверь и на лестнице наткнулась на Ивана Груду.

— Ой, не могу! Ой, не приду больше! Ой, какие злые! Ой, Авраам, Авраам!

А дальше Иван Груда не понял—закартавила по-еврейски и полетела вниз по лестнице.

Иван Груда стукнул в дверь к человеку с бородавкой.

— Эй, вы!

Отворил. Человечек кружил по комнате и, вскрикивая, подымал с полу сахар, масло, хлеб.

— Ай, самовар! Где самовар теперь достану? Отскочил кран от самовара!

— Что тут такое случилось?

— Ай, девочка-девочка! Вот так девочка! Где самóвар достану?

Иван Груда грузным идолом стоял перед закружившимся человечком, у которого текла по лицу кровь. Размахнулся тяжелой рукой и с размаху хлопнул по мягкой щеке. Маленький человечек мягко шлепнулся задом на пол и сидел, расставив ноги, на полу среди битой посуды, выпуча удивленные глаза.

— А вот это почему?

Дверь хлопнула и человечек остался один перед разбитым самоваром.

— Ай-ай-ай!

А в мастерской Авраам утешал жену:

— Ой, не плачь, Ревекка. Все в руке Бога. Бог сохранит нас в безопасности.

Авраам утешал жену и вот в эту минуту, когда серый свет уходил из мастерской,—в эту минуту поверилось, что не пропадет его семя бесследно, не оставит его Бог, создавший народ иудейский, чтобы жил вечно, и что будет сын. Вот в эту минуту увидел себя

Авраам сильным, как юноша, мудрым и успокоенным, как вечность.

Ночью Авраам обнимал жену и, обнимая, молился Богу, чтобы даровал Он ему сына. Но молитвы не кончил Авраам, потому что никогда еще так покорно не прижималась к нему жена, и никогда еще не знал Авраам такой глубокой, как небо, величественной, как небо, и нежной, как небо, ночи. И только под утро, не разняв об'ятий, заснули Авраам и Ревекка.

VI.

Явка всех служащих обязательна. Служащие собирались в замусоренной окурками комнате. Человечек с бородавкой суетился.

— А вот всем итти нужно... Ты советский служащий?—иди. Белые наступают. Революция в опасности. Ай, в опасности—и нужно на страже...

— Да вы бы помолчали, товарищ Прокопчук.

— Нельзя молчать. Как же молчать, когда белые наступают, под Петербург идут! А у нас беспорядки в организации. А у нас-то товарищ-то Груда девочкам масло и сахар...

К словам о товарище Груде прислушивались. Уже давно прислушивались, да раньше не так ясно говорилось.

— Товарищ-то Груда — я все вижу—девочкам сахар да масло. Нельзя, товарищи. Народное масло, и сахар народный, а не для девочек. Я не хочу дурного сказать и товарища Груду уважаю, как ответственного работника. А все-таки нельзя. Девочке нужен сахар—я понимаю—но не по хозяйственно-административному. Девочке в очередь нужно предложить, по порядку.

Человек с бородавкой поворачивался от одного к другому и размахивал руками. А когда вошел Иван Груда, замолчал, и только лицо, когда Груда не смотрел, двигалось, и губы шевелились оживленно. А потом опять заговорил:

— Товарищи, Петроград в опасности и мы на страже. Раз служащий—так иди, на войну иди.

— Так ты и иди!

Это Иван Груда крикнул. То-есть не крикнул, а сказал спокойно. Это только человечку показалось, что крикнул. Весь он передернулся, волны побежали по телу.

— И пойду! И пойду! Только и в тылу у нас непорядки. В тылу по хозяйственно-административному масло да сахар исчезают. Нельзя, товарищи. Нужно стоять на страже. Негоден в тылу—на фронт! А то еще весь тыл раскрадет. А кто раскрадет?

Служащие глядели на Ивана Груду неодобрительно, искоса. А Иван Груда как пришел, так и сел на привычное место, и сизым тупым пальцем водил по опачканному столу. Сидел тяжелым и злым идолом, а против него, на стене, огромный красноармеец размахнулся винтовкой, и трепещет на штыке толстый купчина.

— А вот добровольцем кто же вызовется? Нельзя, товарищи, нужно итти. И ревизионную комиссию заразсегодня по хозяйственно-административному...

— Ты что врешь? Что собачишь? Ревизионную комиссию! Испугал! Я пойти пойду, а вернусь если—опять плюху дам!

Иван Груда взглянул на человечка. Кровоподтек фиолетовый на скуле.

— Вернусь—так...

И ударил кулаком о стол, так что чернильница подпрыгнула и выплеснула чернила на красное сукно.

— Приветствую вас, товарищ Груда. Как приятно, что вы не забыли революционного долга. Сегодня к ночи отправка. Вещей не запасайте.

— Да я солдат—знаю...

— Не запасайте вещей, а возьмите...

— Тебе говорю или нет, что сам знаю!..

— Товарищ Прокопчук! Товарищ Груда!

Служащие успокаивали обоих. За стол, на место Ивана Груды, сел председатель и зазвонил в колокольчик.

— К порядку! Призываю к порядку, как председатель собрания. В повестке дня...

Иван Груда вышел на улицу. Двинулся по панели, ноги сами пошли. Повернул за-угол—вот тут. Поднялся по лестнице, во втором этаже прочел на медной дощечке: «военный и статский портной Авраам Эпштейн». И еще прочел: «страховое общество Россия»—синий с белым овал. Стукнул сначала тихо, потом все громче стучал в дверь и, наконец, такой грохот по лестнице поднял, что все двери отворились и шопот пошел по дому. Все двери отворились кроме одной: той, перед которой стоял Иван Груда. А нужно видеть еврейку. Именно сейчас.

А дверь не отворялась потому, что Авраам и Ревекка молились в закатный час Богу, обратив лица к Востоку, и закон предписывает: ни на что не смотря, ни в каком случае не прерывать молитв Шемин-Эсро, 18 благословений.

Иван Груда сошел по лестнице, остановился у под'езда. Петербург не дышал почти. Иван Груда с неподвижными глазами постоял у под'езда, подумал и отправился домой собираться в путь.

VII.

Об этом можно говорить только шопотом. Только шопотом, нагнувшись к уху, можно говорить, что белые близко, что отступают красные, что по Забалканскому, галопом и людей опрокидывая, пронесся казачий передовой отряд.

Только шопотом. Только шопотом.

А там, где зарево встает на небе и дым стелется по полю, там, где чуется пение снарядов, там нельзя шопотом, там тяжело грохочат орудия, и земля дрожит в городе и звенят стекла.

Вы слышали? Вы слышали? Вы слышали? Белые штурмом берут Петропавловскую крепость.

Шопотом. Шопотом. Мальчишка, торговавший на углу Литейного и Бассейной папиросами, сказал: «Не хочу воевать», и ушел к белым. Весь полк ушел к белым. Какой полк?

Тшшшш... До восьми часов выходить. После восьми арест. Вы слышали? Вы слышали? Вы слышали?

Тихо. Тихо. Даже не шопотом. Даже не шевелить губами. Даже сердцу не биться. Сердце стучит слишком громко.

Ночь. Прожектор рвет небо, и бегают по черному небу белые круги и аэроплан играет в жмурки с прожектором. Грузовики, взметая вокруг шум и грохот, проносятся из темноты в темноту. Трамвайные платформы ждут на углах, и костры горят на углах, и блестят винтовки, переходя из темноты через свет в темноту.

— 26 лет мне от роду моей жизни. Работал я на фабрике по 16 часов в сутки, но имел достаточную силу. Физика моего труда работала, как хороший механизм.

Я был здоров, весел, счастлив. Но пять лет войны измотали мою душу.

— Я тоже воюю уже пять лет. С кем я не воевал? С немцами, с Петлюрой, со Скоропадским, с Махно, с белыми, черными, зелеными... Я не воевал только с красными. Я никогда не буду воевать с красными.

— Я не хочу ни с кем воевать.

— Нужно.

— Тишш... Груда!

. . . . . .

— В ряды стройсь! На пле-чо! Ать-два! По отделениям стройсь! Напра-во! Ать-два! Шагом...—арш! Ать-два! Ать-два! Ать-два!..

Боевой оркестр уплотняет воздух, делая его медным и певучим, как труба.

Солдаты идут.

Сердце стучит слишком громко. Тише. Тише. Вы слышали? Вы слышали? Вы слышали? Ничего не слышали. Ничего не слышали. Ничего не слышали. Даже губам не шевелиться. Даже сердцу не стучать. Сердце бьется слишком громко...

. . . . . .

Вы слышали?

Да, мы слышали. Театры открываются. Выходить до часу.

«Новая авантюра белых не удалась. Наши доблестные войска защитили красный Петроград от золотопогонной сволочи...».

Авраам, прочтя газету, раскрыл книгу заказов и вычеркнул из книги фамилию Ивана Груды. Вычеркнул еще несколько фамилий. Спрашивал у Бога, кто из новых заказчиков будет вычеркнут завтра, и думал о том, что с вычеркнутого заказчика уже никогда не получить долг.

В списке погибших в бою с белыми прочел Авраам имя Ивана Груды.

VIII.

Летом следующего года Авраам сидел на скамейке у бледного моря. Пахло черными водорослями и гниющей сосной. Купол Кронштадтского собора колыхался в тумане.

Рядом, на скамейке, сидела Ревекка и на коленях у нее кричал ребенок, сын Авраама.

Ребенок кричал, отворачиваясь от моря. Ребенок кричал, потому что море было слишком большое. Ребенок кричал, потому что знал, что будет он, как отец, портным, и сын его будет портным, и сын сына будет портным.

Авраам думал:

— Люди — как волны. Приходят и уходят. Приходят и уходят.

Мих. Слонимский.

Июнь 1921 г.

Д Э З И.

Рассказ.

1. Я сам не знаю,
О чем томится
Мое жилье?

А. Блок.

2. СЛУЧАЙ В КОНТОРЕ.

— Грызет...

— Что грызет?

— Дэзи котят грызет...

— Сейчас, Петер, надо скорей! Какой вы право, надо скорей. Отнять надо! Так долго работаете, она вас знает.

— Страшно.

— Страшно... Глупости...

— Господин Бок! Грызет. Господин Бок. Страшная... Хвостом бьет.

— Я сам... Я сам...

3. ПРОТОКОЛ

№ 317

Совета по наблюдению над Зоологическим Садом.

7) Заявление Г-на Управляющего Зоологич. Садом.	Заслушав, Совет постановил: выразить благодарность Г-ну Управляющему Зоологич. Садом за его распорядительность и выдать ему награду из сумм, предназначенных на неопределенные расходы. Отнятого котенка, одного, который уцелел из 3-х, снесенных королевской тигрицей (кличка Дэзи) поручить для воспитания Г-ну Управляющему.
8) Доклад Г-на Ш..... о вымирании редких экземпляров.	Считаясь с наличием войны и вследствие этого с отсутствием ввоза из Гамбурга для пополнений, предложить администрации и служебному персоналу Зоологического Сада принять усиленные меры к сохранению и воспитанию приплода.

4. В БЛОКНОТЕ НЕИЗВЕСТНОГО ГОСПОДИНА.

Человек шел. Под ногой спичечный коробок. Поднял. Открыл. Ничего, кроме обгорелой спички. Человек этот был несчастен и наг душой. Через час — он повесился.

5. ТЕЛЕФОННЫЙ ДИАЛОГ.

— Ай-Ио?

— Господин Бок?

— Да. А? Доброе здоровье.

— Как Дэзи?

— Настроение скверное, скучает, ловит блох.

— Блох?

— Что вы говорите? Да, да. Боюсь, знаете. В некотором роде, трагедия.

— Но это не опасно... Ведь последняя.

— А что прикажете делать... Ничего не поделаешь.

— Но ведь последняя.

— Причем я... Война... Что мы — Гагенбеки какие, что ли? Котенок вот, может быть...

— Что вы говорите? Громче, плохо слышно.

— Котенок, говорю, есть. Может быть вытянем его на смену.

— Так. А что у ней?

— Во сне рычит, днем у задней стенки, морду в лапы, на людей не смотрит, ест плохо, без аппетита...

— Без аппетита, говорите.

— Что? Да... Стара ведь, стара.

— Старуха... Да... Знаете что? Там на клетке у ней...

— Морду в лапы, а глаза в небо. Точно китаец, глаза косые, будто молится.

— Да! Я говорю, на клетке у ней дощечка есть: Дэзи.

— Да.

— Пусть в случае чего останется кличка.

— То-есть как? Не понимаю.

— Кличка пусть останется для котенка. Тоже пусть будет Дэзи. А где он сейчас?

— У меня пока, собака моя ощенилась, приняла его. Со щенятами вмѣсте кормится.

— Со щенятами, говорите... И как?

— Кормится. Потом в ресторан его Петер водит, там кашу рисовую с молоком дают ему, булки старые в ресторане. Потешно! Публика смеется.

— А не вредно?

— Что?

— Да вот смеются.

— Кому? А! Ну, чего же... Забавный он.

— Ну-ну, так уж понаблюдайте. Сами — понимаете. Да-да. Всего доброго...

6. СНЫ ДЭЗИ.

Первый.

У реки под тростником змея пьет жадно воду, несытыми глотками. Напившись, обернула к Дэзи мокрую блестящую морду, капельки капают на песок,— и спрашивает.

— Почему не идешь в город? Там музыка играет.

Дэзи змее.

— А вот я тебя с'ем.

И с'ела.

А змея ей кричит уж из желудка.

— Этого я тебе не забуду!

Второй.

Под солнцем горячий камень. На камне охотник. Сидит, пуская из рта дымные синие колечки, одно за одним. Лягушка за камнем квакнула — вскочил охотник. И вдруг увидел Дэзи. Мигом палку к плечу и выплюнул из нее огнем.

А Дэзи ему ласково.

— Не надо... Мне и так всё противно.

Третий.

Серый Петэр, с блестящими на животе в два ряда пуговицами, принес ей вечером лошадиное вымя. Дэзи стала сосать сосок, а есть противно. Петэр говорит: если не будешь есть, помрешь... Дэзи, рассердившись, хвать его за руку. А вместо Петэра слон стоит и бьет буйно хоботом по барабану.

— Пом-решь! Пом-решь!

У Дэзи слеза за слезой, крупные — много слез.

Выбежала мышка, подлизывает слезы тоненьким розовым язычком.

— Нельзя пачкать, Петэр не любит. Я их выпью, они соленые и вкусненькие.

Дэзи обиделась и поймала мышку за хвост. Мышка спросила: «Хочешь с'есть?»

И защекотала Дэзину шею. Даже отрыжка поднялась, а мышку не согнать. Дэзи поднатужилась, чтобы прыгнуть сквозь решетку в небо, где тучи, дождливые и сырые. Прыгнув, защемила между двумя прутьями хвост. И висит на хвосте. Больно.

Ее потянуло — давится, и отрыгаются у нее котята.

7. ПИСЬМО ПЕТЭРА.

Милой Амалии мой привет из Эйберга. Как в последнем письме сообщал, так и теперь храню одно неясное воспоминание о вас. Служба у меня хорошая, дали костюм и штиблеты, а также и посетители на чай, так здесь называют. На приданое и свадьбу собирается у меня маленький приличный капитал. Советую и вам последовать примеру; тогда наш дом будет настоящий дом, а не как у Фридрихсгоферов, где на другой день свадьбы пошли по соседям искать миску, чтобы сварить суп. На службе мой старый тигр Дэзи принесла трое ко-

тят, но только одну спасли самочку, наш господин управляющий. Говорят, в неволе всегда они жрут. Молодой тигр, по имени тоже Дэзи, воспитывает, как принц, его высочество, живет на частной квартире, кушает рисовую кашу и молоко из ресторана, и еще, что там дают, а старый тигр очень скучает и даже плачет, как и я плачу в разлуке с моей Амалией, верный ей Петэр.

8. ИЗ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ГОЛОС», № 181.

Зоологический сад. Вчера, 29-го июня, обещанный в афишах гала-вечер прошел с огромным успехом, для публики удовольствие, а для дирекции прибыль. Надо справедливо отметить, что дирекцией сада были приняты все меры к тому, чтобы расшевелить нашу холодную публику. Кроме демонстрируемых зверей большие восторги вызвал вольтижер-велосипедист, спускавшийся неустрашимо по винтовой плоскости, высотой приблизительно равной пятиэтажному дому. В театре была дана феерия с пением «Волшебный Сераль», можно сказать — чудо театральной техники, но какие фантастики психологические настроения при чудных декорациях. Затем следует отметить превосходно сыгравшийся, симфонический венгерский дамский оркестр, под управлением г-жи Терезы Кун.

Особо следует оговорить прекрасную дрессировку хищников, львов и тигров, привезенных недавно из Калькутты мистером Тэдди Стефф. Огромный успех вызвало появление м-ра Стефф в сопровождении тигренка в ресторане среди публики. Этот тигренок Дэзи кажется сделается любимцем публики и со временем может затмить наших блестящих див. Но кранней мере сейчас его приглашают от столика к столику. Дэзи страшно охотно слушает дамский оркестр, повидимому, музыка производит на нее сильное впечатление. Словом, для ума философа и психолога, тут много пищи. Наше дело не писать историю, а только пересказать Дэзи, в руках такого замечательного укротителя, как м-р Стефф, прекрасную будущность. В заключение был сожжен грандиозный фейерверк.

9. НЕНАП. ПРОИЗВЕДЕНИЕ П. АЛЬТЕНБЕРГА.

Она была стара, с лысеющим хребтом и слабыми зубами, эта обитательница джунглей, а ныне экспонат Зоологического сада. Ее случайный муж — тигр, умер от туберкулеза. И дети, последняя радость, рожденные за железом клетки, стали для нее последней горечью.

Говорят, что человек сильнее; увидев, что жизнь сожжена, как обгорелая спичка, которую уж незачем прятать в коробок, он разбивает и этот коробок — он кончает самоубийством. Но эта сила— воля к жизни и смерти, мнимая сила, так как покорность природе требует бо́льшей силы. Зверь послушно ждет конца. Его терпение мучительно, но величественнее и красивее, чем секундный пистолетный огонь, сразу кончающий счеты.

Тигрица медленно умирала под бойкий ритурнель веселого оркестра в соседней Bierhall.

Люди, изучающие эволюцию происхождения видов, не ошибаетесь ли вы, увенчивая собой пирамиду, строющуюся от амебы до вас.

Я хочу сказать: «Неужели вы — венец творения»?

10. ДВЕ ТЕЛЕГРАММЫ.

Первая.

№ 1471/112. 1/VII—15.

остендэ отель аренс новик

старая дези подохла бок

Вторая.

№ 17192/17. 3/VII—15.

энберг зоологический сад боку

набить чучело мне квартиру молодую дези воспитывать внимательно новик

НЕМНОЖКО О СЕБЕ.

Без-номерная главка, совсем случайная.

Хочу сказать, а мне кричат: не надо!

А у меня тоска. Чем избавиться?

И, когда хочу об этом поведать, друзья говорят: лирика! И смеются над утробной моей лирикой.

А мне: надо! надо!

Хоть и нет подходящих слов.

Приятно многим, аплодирующим, когда я циркачу по арене. На арене, как теперь пишут—у ковра—Рыжий Франц. Да! Верно!

Я, рыжий Франц, выкленваю для публичного удовольствия хитрую мину, словечко, позу.

И живу... живу.

На люди, на прогулку шествую...

Впрочем — кому какое дело...

Кругом меня удивляются: почему я такой чистенький... А не знают, что весь я изваляшись, в пуху, в сварах и похоти, что только и думаю, как ловчее бы кувыркнуться.

Неожиданно выжал тошную мысль: отрави Рыжего!

Послушался.

Пусть теперь доносят друзья.

У меня своя есть правда, как у русского святого Прокопия, что в морозное наготствующее время, ночевал бок-о-бок с псом.

II. ЭПОПЕЯ «НЕБО».

I.

Осенью небо тускло от туч и тяжело осенью небо; солнце режется переплетом оконной рамы на четыре теплых веерo-розовых хвоста павлиньи. Дэзи растяну-

лась по подоконнику, уткнувшись горячим носом в стекло. Днем — одной — очень скучно. В соседних клетках трещат паркеты, как хлёст бича. День длинен. Не дождешься пока приползут ленивые червяки—сумерки и голые комнатные стены затускнеют слежавшейся травой. Полизать ее — невкусно, пахнет пылью.

И больше ничего, кроме кормушки с водой да затхлого мясного куска с запекшейся черной кровью.

Какие скучные у людей клетки. Не то было в Зоологическом саду.

Черноволосые женщины, одетые в черные платья, радовались или плакали, играя на скрипках. Бегали люди с белыми салфетками на перевес, всё гремело, звенело кругом и хохотало, а рядом, под огромным навесом, где давались представления, другие люди, сбесившись, схлестывали ладоши.

И когда после ресторанного шума — уводили Дэзи к матери, ей было неприятно. На матери постоянно скачут блохи, мать чешется и от нее пахнет псиной. — Псиной!

Так говорит старый хозяин — белый старик, со стеклами на глазах.

— А ты тигр...

Тигр... Дэзи долго не понимала этого слова, но новый хозяин, в красной куртке, без волос на лице, пришел неожиданно, как ветер, и сразу научил. Шаг у нового хозяина был мягкий и ровный, земля уступала ему. Он взял Дэзи за передние лапы, сжал их — хрустнули косточки. Дэзи поглядела на желтый продолговатый лоб, по лбу бегали морщинки разные: добрые, лукавые, злые и неясные. Дэзи их понимала.

— Так, милэди! Видишь — я, Тэдди Стефф. Ты у меня будешь умная.

Раз он привел ее в круглую, яркую клетку и сказал:

— Твои братья, кошечка.

Братья ходили, осторожно поджимая желтые лапы, вытягивая лениво полосатую спину, охлестывая хвостом прутья клетки, но когда чуть-чуть ослабевали мускулы красной куртки, тигры начинали подозрительно косить глазами, пока колкий гулкий бич не передергивал дрожью подобравшееся тело.

— Видишь... какие они глупые.

Они прыгали друг через друга, бегали в хороводе, скакали в обруч и сверх барьеров, и только раз, когда одного старого больного тигра Тэдди заставлял перепрыгнуть через самый высокий барьер, тот, припав на передние лапы, высек искры глазами и заревел, грозя.

— Что? Нет. Что? Э-е... эа-а... хооп-ля! Нет?

Тэдди покраснел, Тэдди — красная куртка.

— Так? Ну видишь... Го-оп!

И, уколов острием бича, улыбнулся. Но нет!

Тигр, поднявшись, выдужил спину и так закричал, что через секунду Тэдди и Дэзи выскочили из клетки. И когда звякнуло звонко тугое железо дверцы, побелевшие глаза красного хозяина ощупали Дэзи.

— И ты испугалась! Собачка...

И, взяв ее на руки, притиснул.

— Умница! В Америку поедем, потом женимся, денег наработаем... Да?

Тигры прижались к стенкам клетки, вырезав на выпятившихся боках гневно ребра; жаловались. Дэзи, заглушив крик, оскалив, завыла, отвечая. А Тэдди хлопнул ее вдруг, мешок с костями, о землю, — и хлобыснул бичом. Покрасневшие белки закрылись веками — Дэзи взвизгнула; с этой минуты стала она постоянно

следить за руками Тэдди Стеффа: как ласкает, как кормит и бьет. Руки у человека — всё.

И поняла: надо слушаться.

По утрам Тэдди приходил к ней в белом, широкий, качающийся и добрый, и на гладком лунном лице весело щурились зубы. Ртом лизал морду, было тогда приятно, играл. Вел в соседние комнаты; там за едой, кидал кусочки, любя, чтобы Дэзи на-лету хватала их. А потом уходил на день, запирая Дэзи в зеленую комнату.

Во всей квартире ни звука, только временами где-то медленно и долго звонят. Вначале боялась звонов Дэзи, пока не привыкла. Когда било — четыре—обычно приходил Тэдди и был обед. До четырех же Дэзи лежала, клубком на окошке, любуясь небом, деревьями парка и красными вагонами, хлопотливо скользящими по острым лентам рельс. Лошади тащили повозки. Сновали люди. Собаки. С одной, вертлявой и юркой, хотела Дэзи поиграть, поразмяться. Ткнулась мордой в стекло, вздребезжали осколки, звеня — в кровь разрезала Дэзи нос и, обиженно зализывая ранку, спрыгнула в темный угол.

Какой это мерзавец выдумал такую штуку: смотреть можно, а пролезать нельзя?

С улицы Тэдди приходил румяный, снимал красную куртку. И от него пахло густым хорошим потом, зверинцем и ветром. Дэзи скучала, вспоминая Зоологический сад и жаловалась тихонько Тэдди на свое одиночество. Но он не понимал и, сердясь, уходил в свои комнаты.

Было как-то: пришла к Тэдди женщина в черном платье, может быть из тех дам, что играли тогда в ресторане. Она села к роялю, сняв с головы пук зеленых перьев и положив его на яркую крышку рояля. Дэзи лежала на ковре смирно, как приказал хозяин, — и смо-

трела. Хозяин сидел рядом у ног черной женщины. Руки черной женщины бегали по роялю и когда комнату оплыла музыка, Дэзи завыла от скуки по Петэру, лакеям и звону блюд. А хозяин, что слон хоботом, водил руками по платью черной дамы, и дама вздрагивала, как макака. Дэзи сердилась на Тэдди: не мешал бы он музыке...

В этот вечер Тэдди остался дома; в этот же вечер совсем необычно он забыл и про Дэзи — не покормил. И она, зевая, слонялась по квартире; сгрызла в передней чьи-то вязкие, тягучие и приятно-пахнущие сапоги; долго била лапой в прозрачную стенку; за стенкой ходил тигр и тоже бил лапой. Дэзи ощупала ушами тишину и поняла, что за стенкой никого нет, что стенка—просто человечья шутка. Соскучившись, попала в маленькую комнатку, где половина занята была высокой кормушкой, — нагнулась поесть: из кормушки пахло хорошим калом... вот как от сальных рук Петэра... но есть нельзя.

В эту ночь никак не могла заснуть Дэзи; из комнаты хозяина выпархивал воробьем неожиданный смех. Когда Дэзи ткнулась в ту комнату, Тэдди — румяный, с довольными морщинками на желтом лбу, весь в белом — по утреннему, вскочил с кровати, вышвыривая Дэзи за дверь. И заперся на ключ.

— Вот еще... Молода еще, милэди!

Дэзи глядела в окно — на серый ночной бульвар.

Когда нет никого, он, онемев, лежит, потягиваясь и упираясь ногами в край зеленого неба, ночью спускающегося низко к крышам, где в прогалинах труб бродит, улыбаясь, белый рогатый месяц.

Внизу на бульварной скамейке две тени — ...люди. Одна встала, отошла и, опять придвинувшись, замахала сердитей. Зорки ночью глаза Дэзи: в руке у сердитого,

прорезая сумрак, высверкнулось остро что-то и тень другая, та — на скамейке, переломилась устало — надвое, и из горла этой тени хлынул крик, а за криком хлюп... еще — вот тише — и совсем чуть-чуть.

Дэзи забрала для прыжка передние лапы, чтобы выскочить за окно, но вспомнив, как о стекло можно поранить нос, лениво спрыгнула на пол.

А поутру Тэдди ласково будил Дэзи и женщина лукаво совала черную, скверно пахнущую духами и перчаточной кожей, руку, в морду Дэзи. Дэзи чихала и отбивалась лапой.

Тэдди и гостья смеялись. А Дэзи завидовала.

— Хорошо жить людям.

II.

Через день, читая «Голос», ахал Тэдди:

Страшная драма в Энберг-Парке.

Прошлой ночью на бульваре произошло зверское убийство. Сын известного столичного фабриканта г. П., возвращаясь из клуба со своим адвокатом...

Сжевав остальное, он смял газету и бросил нечаянно в Дэзи, лежавшую под столом. Дэзи, зевая, выглянула из-под стола. Что с хозяином? Раньше никогда не смотрел так Тэдди Стефф: ни в клетке, ни с гостьей, ни с Дэзи за игрой или едой. Кто слизнул с хозяйских глаз их настойчивый и упорный блеск? Они смотрели тяжело, не зная где тупик, где можно остановиться, а на лоб выбежала печальная морщинка.

— Так, кошечка! Если бы не было укротителей .. И вдруг тебя на реку Ганг, к Гангу — да! Как прекрасно будет. Весь мир, весь мир...

Он подхватил Дэзи на руки (его привычка) и прижал.

— ... Видишь... О, ты — тюк! Выросла. Пора, пора за серьезную работу, да, милэди! Деньги! Деньги — ужасная штука.

И еще долго болтал в этот вечер хозяин; он опять вовсе не выходил из дому, хотя в этот вечер и не было черной гостьи; он толковал о тоске, что ест человека, как вошь, о тоске, о пыли, появляющейся неизвестно откуда. Дэзи заснула под разговор. Разбуженная досадливым писком, она сердито прицелилась к хозяйской руке, но Тэдди быстро и больно ударив ее каблуком, загнал Дэзи в зеленую комнату.

Дэзи, прижавшись к углу, думает о ресторане, Петэре и песнях. И еще о новом: о Ганге...

За шпалерами шелест мышей, шуршит неслышными шажками живое за шпалерой. Дэзи морду в лапы — и тише! Шорохнулось, смолкло — Дэзи прикрыла веками глаза, задремывая. И лишь шмыгнула мышь в кормушку, сощурились веки, Дэзи подобрала зад и подтянулась на передних лапах, заостривая туловище мордой. Мышка вышла на край кормушки. Скачек. Ударом лапы сразу. Где мышка? Вон серый мячичек весело подлетывает в дэзиных лапах. Чуть тронув зубами, оставила его — (кровь!). Надо показать хозяину.

Опять шевельнулось живое, просится в уши зашпалерный шум, насторожилась Дэзи, обнюхала стены, выскребывая ушами малейший шорох. Обои когтями — скорее! Вдрызг разодрала — но нет зверьков. Прячутся.

После охоты хорошо спится. Дэзи видит веселый сон: человека с ножом.

Утром, когда Тэдди вошел, Дэзи косит морду над мышкой. Только заметив, засмеялся он, — мышка сгрызена вмиг.

— Что наделала? Ах... дьявол! Что? Видишь, испортила комнату. Что? Когти? Нет, надо тебя долой.

Не понимает хозяина Дэзи. Но надо, чтобы человек не сердился. Покорность надо показать хвостом. Надо сделать ему удовольствие.

— Работать надо, — говорит хозяин.

До четырех у хозяина — работа, в четыре — обед, после обеда — снова работа. Скучно живут люди. Почему не научатся они—просто лежать на подоконнике и смотреть на деревья, как растут почки и как клюют мух болтливые птицы. Подоконник понятно, ресторан и музыка понятно. Петэр понятен, а вот работа и псина — что? Псина — мать, но это тоже непонятно.

Сегодня Тэдди прибежал румяный, белкой мыгает по комнатам, укладывая в ящики всё, что разбросано было по столам и в столах.

И позже — мокрый зажал меж колен дэзину морду, а в глазах тоже мокро — пить можно.

— Кончено! Туда, Дэзинька!

Лапами цапает Дэзи, томится. Опять непонятное.

— Видишь, из Англии...

И машет хозяин у самого носа пахучей плотной бумажкой.

Дэзи чихнула.

— Воевать... видишь.

Он с'ежился, растопыривая пальцы.

— Грызть, костями так, понимаешь... би-ить большей!

Дэзи взвизгнула, вспомня бич.

— Ну, аллэ! Не скучать.

Вечером, та же знакомая женщина. Она бросала бисквиты Дэзи и гладила хозяина. Хозяину тоже приятно, когда его гладят. Ночью он был особенно доволен и из спальни: шопот переплетался со смехом. Но к утру разбудили — плакала женщина.

— Тэдди, я боюсь, Тэдди. Я люблю, я очень тебя люблю, Тэдди.

Так люди смеялись и плакали. Люди умеют это делать. Дэзи, скорчившись... — спать.

К ней приходил огромный человек, в обезьяньей шерсти, и из его удивленных глаз медленно лился, грея, широкий луч. Человек пел о том, что он брат солнцу и отец птиц, тигров и дерев. А обезьяны, приседая, корчили с него рожи. Сгребя одну лапой, треснул черепом о камень, хрустнуло. Капли на камне. Хочет засыпать землей, да капли пропотевают на камне упорно. Краснеет камень и плачет человек от обиды и жалости.

По квартире скребут люди тяжелыми подошвами. Пахнет зверинцем. Белый старик в стеклах тут же. Среди новых не узнать Тэдди. По походке только угадала хозяина. Дэзи посадили в клетку и понесли, качаясь, люди с тяжелыми подошвами. Тэдди — худой и серый стоял у окна, смотря в небо, ловил крепкими пальцами разбегавшиеся по лбу морщинки.

— Не знаю, зачем?

А на улице необыкновенный воздух, соленый и солнечный.

Дэзи рвет прутья клетки.

Клетка качается легче щепки. Скверно! Бежать хочется по земле, чтобы чувствовать лапами земляную сырь. Клетка качается — солнце ловит клетку. Гремит телега кованым шумом и люди на улице улыбаются Дэзи. Зачем прутья кругом из железа? Надо — землю, деревья и камни. Надо!

Красной куртки нет рядом. Серым человеком осталась она у окна. Дэзи стонет.

— Тише! Канальи! — крикнули стекла.

III.

Темной зимою в слепом корридоре — у окна горит проклятый электрический глаз. По обеим сторонам в тенях прячутся клетки. Около дэзиной иногда сокрушенно вздохнет белый старик в стеклах.

— Единственный экземпляр! Но что я могу... разве мы Гагенбеки какие-нибудь... Блокада!

Строго кричит мальчишке. Мальчишка почтительно: «слушаюсь»... А клетку часто выместь мальчишка боится, минутку лишнюю задержаться трусит. Мальчишка не разговаривает с Дэзи. Как не ударить такого? Надо ударить. Но мальчишка хитер: в клетку без вилки не входит. Неужели не вернется сюда красная куртка и не услышишь ни жирного кашля Петэра, ни музыки черных дам.

Только холод и немой мальчишка. А мускулы пухнут в лапах. Если попробовать...

Прутья крепки, люди осторожны.

Утром — холод, днем — тоска, а вечером—обезьянье мясо.

Всё тоже, всё одно — также, как и белый старик, его стекла и вздохи.

— Ну что я могу... опять две обезьяны подохли.

И сторожа низко гнутся, вроде обезьян.

— Беда, господин Бок!

Когда затеплели дни — солнце сгрызло со стеклянной крыши ледяную корку. Этим годом круто набежала на город весна, как буря — внезапно. Сперва: (слышно было за стенкою) расхлестывал гулко бич, несколько бичей били залпами и небо было раздражено гулом. Дэзи с болью думала о бичах. В уличном крике забывала, что не кормили уж два дня. Дэзи понимала этот шум. Дэзи выла, отвечая людям.

Пришел мальчишка, подвязавши щеку. Сторожа сгрудились в стаю, разговаривая.

— Свобода, друг... Революция...

— Товарищ надо... товарищ.

Сторожам смешно — озорные пошли слова, потный гогот. Нет поклонов господину Боку.

А Дэзи вспомнила: как плача, говорил хозяин о Ганге.

Она не понимает. Дэзи жалко, что нет рядом красной куртки, знающей то, чего никто не знает.

Вслед пролетевшим и упавшим в дом бичам, слышит Дэзи развернувшуюся на улицах ветряную песню: песня борется с музыкой — не усидишь спокойно в клетке. Широкая песня. Облетает всё небо. Но напрасно совать морду меж прутьев. День за днем — та же песня, день за днем — умирала музыка. Когда по улицам засуетились трамвайные звонки, в саду веселые маляры, нашлепывая кистями, уж перекрашивали заново клетки и заборы. Дэзи пересадили в летнее помещение. Резал нос молодой ветер, тянуло от земли пригарью, а от заборов и стен пахло острой неприятной краской.

За прозеленью зацветился лужок, за пухом — на липе плотный сладкий лист; скучнеет песня и пылится перекрашенный забор.

— Не всё ли равно, что поют люди. Надо есть, побольше есть.

Дэзи шарит по углам, не осталось ли какой крошки с вечера...

Показался неожиданно Петэр. На животе у него нет блестящих в два ряда бляшек. Петэр в скучной серой шинели, но к нему приятно подойти, полизать сальную руку, лукаво изогнуть спину. Немого мальчишки тоже уж нет — в клетке стало опрятней, но Петэр

не болтает, как прежде, об Амалии и хороших господах.

— Ах, arme Seele, плохо жить в окопе. Ревматизм сустава. Плохо людям жить.

Дэзи ловит на сальном лбу Петэра печальную морщинку, точно такую, как была у хозяина Тэдди, и тихо трется у человечьих ног, пахнущих пылью и потом.

В людях есть сходство, как в небе; люди меняются также, как небо. И плохо, и хорошо — на земле.

IV.

Осенью — затихшие бледные дни и восковой мертвый лист. Серой, слепою ночью разбудили Дэзи залпы гулких бичей. А за бичами опять, как тогда, встряхнуло небо музыка, но криков меньше, и новая удивляющая песня неловко толчется в городских стенах.

Дэзи ясней, чем раньше, чувствует: не все ли равно, что поют люди.

Выхожена клетка до следов по деревянному полу, зубами испробовано железо. Ветряной песни, облетающей небо, нет. Пусть будут новые, другие, удивляющие песни — клетка останется. Дэзи прячется в задний угол, — спит ночь, спит день, и с каждым часом злее кованый сон.

Улицы, обессилев от хлопот, дремлют. Музыки нет. Реже на улицах резкий звонок и человечий шаг. Город угрюмится и немеет. К Дэзи приполз голод... Нет, умирать не надо.

Вместо сырого мяса — отварные макароны с сыром. Дэзи есть макароны, гнилую брюкву. Дэзи будет есть всё, что ни даст Петэр.

— Ненормально, фрейлен... Я не чижик, я чужой подданный... Я не понимаю...

Петэр плохо понимает Дэзи...

Люди ничего не понимают.

Если бы одно старое кало — и то можно жить... нужно жить.

В корридоре нет ни слов, ни хохоту. Дэзи, пережевывая губы, тупо и отчаянно сопит в углу.

— Макароны, так макароны...

V.

После спячки — ровные дни, с маленьким ветром, с кроличьим моргливым солнцем. Вместо макарон—жилистые куски палых лошадей. Не всё ли равно... Сегодня палую лошадь, а завтра — брюкву, а потом опять кусочек палой лошади. Только ли корм... Когда тоска. Отчего тоска? Не потому ли, что в туманные дни—ничего нет кругом, ни деревьев, ни неба.

Не за туманом ли Петэр, — в тумане...

Теперь вместо Петэра — лукавая Геля, в полосатом переднике. Теперь — одни кости, мяса меньше. Всё равно. Вечером, при кормлении в соседних клетках, непривыкшие волки темно волнуются. Геля кидает порцию Дэзи. Дэзи зевает.

— Ты, хитрый... Осторожнее. Ешь. Почему не ешь? Норма есть, чего тебе еще?

Дэзи зажимает левый глаз, правый щурит — а Геля плюется, утираясь полосатым передником.

— Я т-тебе...

Ночью, когда крякает деревянно медведь во сне, — по небу, по пуховым тучным дорогам прогуливается, неспеша, рогач.

И только одно живое: небо.

Из клетки слышишь улицу, видишь сад, крыши и небо. Люди приходят, уходят. А стенка одна: небо. От-

туда пришел Тэдди, принес в ящиках хитрости, смех и зверей, и рассадил их по клеткам на земле. А потом опять придет и возьмет на реку Ганг, и там будет играть черная дамская музыка.

Так проходят ночи, а днем, зевая, неподвижно, по часам, высиживает у решетки Дэзи, вытянув лапы — и слушает, как детеныш с кисточками спрашивает мать.

— Мамочка, а почему она такая? Она не настоящая, дедушка говорил.

— Почему не настоящая?

— В клетке родивши, дедушка говорил...

VI.

За утренней уборкой Дэзи скалит рот; только напрасно опасается Геля.

— Норма есть... Чего же тебе еще?

Уборщица, лукавая Геля, не знает: только ли корм... когда тоска...

В соседних клетках воют звери о лесах, о буре и весенних оврагах. Кто-же из них знает, что за стенкой, за небом — Ганг, радостный — как музыка.

Однажды ночью — когда на холод выглянул, оскалясь, мордатый рогач, и сад, поеживаясь, заснул,—Дэзи нечаянно отворила дверь клетки.

(Геля. Надо крепче задвигать щеколды!)

Под лапой пищит гравий. Дэзи пугается синей тени — сбоку, и несется к забору. А рогач хохочет: есть что показать человеку, и птице, и тигру...

Дэзи ищет путь: лунная морда у шпица, шпиц мерцает в лунной морде. Там конец и начало.

Круглится грудь, ходят уши, сжались мускулы — и Дэзи разом за забором, на прелом лугу, где разбросаны свеже-выструганные доски. Занозив лапу, взвизгнула Дэзи, а луна ждет и смеется.

Спустилась по песку к ночной темной воде—в нее уходило небо с луной. И было два неба и две луны: вверху всё в высверках и внизу спутанное сумраками. Дэзи завыла. Везде река — от реки сырой холод — и небо дрожит; Дэзи упала у двух камней.

— Ничего не понять...

Уснула. И сон был радостен: своя клетка.

Приходит ласковая собака — мать, лижется. А проснувшись, оглядела Дэзи небо, солнце мешает. Там, у Ганга, костром сверкал шпиц. Луны нет, но ведь она опять будет там. Дэзи поднимается по пригорку. Хорошо бежать по теплой, мягкой дороге. Поравнялась с человеком, тот опрометью отскочил и крикнул, предупреждая другого. Дэзи остановилась, играя хвостом. Оглядела кусты, забор, стены у шпица, а впереди, на дороге — полосатая будка и около нее человек в шинели. Не Петэр ли? Дэзи, обрадованная, кидается к нему, забыв про больную лапу. А человек, нацеливщись из палки, хлестнул, как бичем, колко и гулко.

Дэзи завизжала и, припав на передние лапы, легла. И сейчас же вытянула блаженно хвост: ведь там у шпица музыка заиграла знакомую, ветряную песню, ту, легкую, сильную и широкую, — облетающую небо.

Прислушавшись, встала Дэзи и, шатаясь, пошла к шпицу.

Надо—надо—надо!

Рокотом звал барабан: ра-ра... тра-та-та...

Барабан звал к Гангу. Наконец. Тут. Рядом.

12.

Рѣка Гангъ протекаетъ въ Индіи.

(Из учебника Географии).

Ник. Никитин.

ПЁСЬИ ДУШИ.

Рассказ.

Мысли собачьи—человеку тайна.

А душа у собак ясная и писать о нем можно.

В груди человеческой есть такие места, где тихо. Сердце бьется сильно, не удержать в руке (хирурги знают это), а в уголке каком-нибудь, может совсем рядом с клокотом страшным, покойные лежат клеточки.

Так в этом городе: два шага от сердца—и мирные разлеглись улицы. Человечьи конуры вышины страшной, подпирают верхушками пустоту бескрайнюю. Точь в точь, как в самом сердце городском. Но бесшумно здесь и ровно.

На дорогах выросла мягкая трава. Хорошо она пахнет и так сладостно ущипнуть холодный стебелек зубом, пожевать и выплюнуть. Всю мостовую покрыла мягкая трава эта. Возятся на ней человечьи дети, пищат, южат, делают из грязи смешные такие горки: тронешь лапой—их и нет. А человечьи дети воют, тянут за хвост и дергают уши. Приятно.

Вообще в этих местах жить было приятно. Много было хороших людей и ни разу никто не прибил. Едой делились не очень часто и голод не давал покою.

Но места прекрасные.

Две улицы коротких и одна длинная. На длинной хуже. Есть там кусок дороги залитый асфальтом. На асфальте трава не растет. Человечьи дети—иногда очень большие—ставят на асфальте деревяшки и бросают в них толстыми палками. Деревяшки и палки со звоном летят в стороны. Тогда надо поджать хвост и бежать скорее в ту короткую улицу, которая ближе.

Потом—на длинной улице из-под человечьих конур, куда прячутся кошки, скверно пахнет. И там же, в самом конце, где так часто звонят колокола, из одной двери слышно, как воют люди. Оттуда не скверно, но как-то смешно пахнет: всякий раз, когда пройдешь мимо, хочется чихнуть и надо долго тереть лапой по носу.

На коротких улицах ничего этого нет.

Там, в одном месте, каждый день чинят стену. Приходит женщина с ведром и мажет чем-то стену. Потом лепит на стену бумагу (бумаги валяется на дороге очень много, но женщина всегда приносит с собой). То, чем она мажет стену, очень хорошо пахнет, но на вкус неприятно. Вероятно и людям нравится этот запах: они останавливаются и нюхают бумагу.

Чувствую, что начинаю говорить от собачьего имени. Между тем, мысли собачьи—человеку тайна. Только душа у собак ясная и писать о ней можно.

Вот о двух собачьих душах, которые жили на улицах, поросших мягкой травой, подле самого клокота городского, и должен рассказать я.

Сука была из простых. Именно в ней и надо искать причину того, что кобель остался надолго в этих местах: если бы не сука, он давно бы бежал, так как был непоседлив и еще молод.

А она, от старости ли, от характера-ль, обосновалась здесь прочно, и уйти от нее, расстаться с ней было свыше кобелиных сил.

Конечно, она была стара, эта сука. Доводилось ей изредка раздобыть крепкий мосол. Тогда кобель ложился рядом с ней и, не мигая, смотрел, как срывались ее сточенные зубы с гладкой кости, оставляя на ней неглубокие царапины. У него текли слюни, обильней, чем у ней, и на глазах его, точно замерзшие, стояли слезы. Он сам не мог бы определить почему—от зависти ль, от сочувствия ли.

Когда она, делая вид, что не замечает кобеля, бросала кость, он тихонько подбирался к добыче, сжимал ее своими жилистыми лапами, накренял морду на бок и клал мосол на коренные зубы. Если так не удавалось раздавить кость, надо было перехватить ее с другого боку и попробовать на клык. От клыка на мосле делалась ямка. Если потом опять положить кость на коренные зубы и постепенно, осторожно сдавливать челюсти—кость треснет. Внутри кости, если она не очень стара, всегда есть мякоть. Ее хорошо выгладать резцами и полизать. Это очень вкусно, но не сытно.

Когда кобель раскусывал мосол, сука возвращалась и давала ему понять, что он сделал свое дело и должен удалиться. Это она выражала молчаливо: ее верхняя губа приподымалась с одного боку настолько, что виден был желтый клык, и взгляд ее мутнел. Он знал, что в таких случаях ей нельзя противоречить и покорно отходил. И опять у него текли слюни обильней, чем у ней, и на глазах замерзали две добрых слезы.

Два чувства к ней согревали его: покорность и нежность. И было это необычно.

Она не только была стара. Она была некрасива. Седовато-рыжая шерсть ее свалялась, как пакля. Сзади пакля висела юбкой и тряслась, когда сука бежала. Она небрежно относилась к себе и даже блох ловила не ради чистоплотности, а из злобы.

Кобель был молод, строен, зеленоглаз. Конечно, он не был догом, но кто-то из его предков принадлежал к этой благородной породе. Он был силен.

Весною, когда потеплели лужицы и от навоза на мостовых сгдался жирный пар, повели собаки радостные хороводы и не мало в этих краях обнаружилось забубенных голов.

В старую мохнатую суку вселился бес. Ударит стрелой по длинной улице—только брызги летят в стороны—потом с разбега стоп, как вкопанная. Кобели, сломя голову, через нее, друг через друга, с рёвом, рыком, визгом. А она даже обернется на себя, словно удивленная: я ли это? И встряхнет свою шерстяную юбку.

Кругом нее вопли и скрежет, пахнет потом и бодрящей, кисловатой псиной, ветерок гонит по болотцам клочья кобелиной шерсти и сверху ласковая гладит по спине теплота.

Точно первую весну переживала сука.

И много ради нее претерпел зеленоглазый дог.

Когда же ясно ей стало, что с его зубами не потягаться ни одному псу, сделалась она смирной и мягкой, и однажды, лежа на солнцепёке, зализала ему разорванное в драке ухо.

Летом ходили вместе со двора во двор, останавливались под окнами и ждали, когда кто-нибудь бросит корочку или вынесет в черепке похлебки.

Дворняжка проглатывала подачку, а дог деликатно шевелил хвостом и ловил надоедных мух.

К угловому дому привозили на лошади целую гору корму. Никогда не с'есть бы столько корму! Собиралась у дома толпа людей, путали следы на мостовой, шумели, потом выходили из дому с огромными кусищами корма и, нет-нет, делились с собаками.

Хорошие были дни, плотные. Телега, и лошадь, и люди, и все три улицы пахли кормом, а человечьи дети катали из корма шарики и норовили подбросить их выше, чтобы труднее было поймать.

Особенно один детёныш любил делиться своею пищей,—а ел он каждый день на улице,—но делал это удивительно: отламывал от своего куска такие маленькие крошки, что взять их с земли можно было не иначе, как языком. А то совал эти крошки в ноздри. Детёныш был тонконогий и приятно пах теплой подстилкой.

Так славно жилось здесь. Но не одна человечья судьба изменчива.

Ночью было холодно, зеленый свет пугал, и хотелось взвыть. Дог с подругой устроились под навесом, и когда она неожиданно встала и куда-то пошла, он только поежился от студи.

А с рассвета ударил дождь, и было голодно и зябко, и кобель никак не мог напасть на след суки, и бродил встревоженный по дворам.

След вдруг находился у лестницы на сеновал, или около амбара, или в куче камней на задворках.

Было пусто и не звенел, а куда-то проваливался лай.

Но в сумерки дог нашел логово. Оно было в подвале рядом с домом, где смешно пахло. Добраться туда было трудно, и пролезая в какую-то дыру, он ободрал себе морду.

В подвале черная стояла темнота. Запах суки смешался с чем-то новым, острым и, как-будто, где-то слышанным. Но в запахе не было ничего человечьего и это успокоило его. Он шагнул к ней. Она незнакомо зарычала. В рык ее вплелся чуть слышный жидкий писк.

Он дрогнул, вспомнил волнующий запах, обрадованно-коротко проюжал что-то и шагнул еще. Он хотел лизнуть суку и поводил носом, отыскивая ее морду.

В это время тупые зубы рванули его за ляжку.

Он взвизгнул, ударился обо что-то, понял все и, поджав хвост, но с неизменно нежным чувством, стал нащупывать выход.

Два дня дог провел в поисках пищи. Не переставая лил дождь, люди почти не вылезали из конур и корма не было.

Наконец ему попался свежий мосол. Он отнес его суке. Она лизнула его и он не мог удержаться от лая.

Потом опять истово рылся в мусорных ямах и бегал далеко по неизвестным дворам.

К вечеру третьего дня на длинной улице упала лошадь. Сначала ее бил один человек, потом собралась толпа людей и все били и дергали лошадь. Она не встала. Тогда нащипали на дороге травы, масляной и жирной, и сунули траву под лошадиную морду. Человечьи дети пихали траву лошади в рот, лошадь поводила и шлепала губами, но не ела. Глаза ее смотрели куда-то под лоб и изредка она вздыхала и тогда травинки разлетались из под ее морды по камням. Потом впрягли другую лошадь в телегу.

Стало безлюдно.

Рассеялись тучи и мертвым оплела луна улицы светом. Но была ночь и люди спали.

И только дог видел, что случилось.

Он возвращался голодный, и как-раз вбежал в длинную улицу с одного конца, когда с другого показалась лошадиная смерть. Дог остановился, увидев темную живую кучу на дороге, но не сразу почуял, и потому не сразу понял, что это было.

Лошадь отчаянно вскинула ноги в воздух, грузно перевалилась с боку на бок, поднялась и дрябло, словно чужими ногами, шагнула, цокая по камням подковами. Потом задрала голову, точно собираясь вздыбиться. Потом сразу рухнула на земь, прикрыв собою свою тень.

И так же цокнули и ухнули тяжело высокие человечьи конуры.

Лежа, лошадь заржала.

Как-будто в ответ, в конце улицы, там, куда пробирался дог, взвыла собака.

Он узнал ее, метнулся и, огибая лошадь, побежал.

Но минуя вздутую черную тень, услышал сладковатый запах, и на спине его поднялась шерсть, а во рту защекотала горячая слюна.

Сука издали смотрела на лошадь. Дог обнюхал свою подругу. Как-будто в ней уже не было того, чем волновала она в своем логове.

Он осторожно попятился. Она не шевельнулась. Тогда кобель спокойно пошел к подвалу, миновал все ходы, пролез в последнюю узкую лазейку и спустился в темноту.

К запаху, который возбудил в нем нежность, присоединился другой, сладкий, едва уловимый, тот, от которого защекотала во рту слюна, когда он бежал мимо лошади.

Он подошел к щенкам, обнюхал их. Они были очень малы и веяло от них холодком. Он стиснул одного зубами.

С улицы донесся далекий лай. Так не звала его сука никогда. Он бросился наружу.

Там было беззвучно, как в колодце, и гладко, словно вода, простиралась умытая дождем дорога. А над колодцем холодно-зеленая висела пустота, и нельзя было не чувствовать ее, потому что пугала она тенью, ступавшей сзади дога.

Он крался мягко, вобрав когти, вытянув толстолобую голову вровень с землею.

Встречу ему не выше поземка, тянуло сладкой волной и страшно было, что смешался с волной этой крепкий запах суки.

Он крался и косил на тень, которая подбиралась ему под живот, и видел, как росла у тени спина, и оттого ему становилось еще страшнее. Он поджал хвост.

А сука копошилась у самой лошади и спина у нее, как у его тени, изогнулась горбом, и не было в суке ничего собачьего.

Рвала она лошадиные губы, мотала и трясла головой, чавкая и рыча, а лошадиный оскал щерился незлобно и неподвижна была вздутая черная туша.

Почуяв теплоту крови, кобель задрал морду и долгим несвоим воплем огласил округу. И таким же воплем отозвалась сука. И так стояли они рядом, непохожие на собак, выгнув спины и спрятав хвосты, и выли в холодно-зеленую пустоту над колодцем.

Потом, дрожа и толкаясь, рвали лошадиную шею, глотая нежеваные куски, давясь ими, извиваясь от судорог и боли. А лошадиный оскал незлобно щерился, и

от рваного лошадиного горла ползла теплая серая дымка.

Проснувшись с рассветом, дог не нашел своей подруги. На животе черной туши гуляла птица, а у головы ее возилась неприглядная собаченка.

Что-то застряло у дога в носу, точно пыль, и не разобрать было, где пропала сука.

Нашел он ее по догадке, а не нюхом, и подобрался к ней вплотную.

Сука лежала вытянув прямые лапы, осклабясь и закатив глаза. Она показалась ему огромной.

И только ткнувшись мордой в шерстяную юбку, учуял он сквозь засевшую в носу пыль, что случилось и заюжал от тоски.

Весь день мучила его эта тоска. Он бегал, стеная, по улице, от лошадиной туши до двора, где лежала сука, и назад, и все пугало его, и было больно от сладкой смерди, наполнившей все тело.

Люди ожесточились в этот день, бросали в него камнями, кричали и улюлюкали, когда он тяжело перебегал дорогу, волоча за собой липкие нити слюны.

И так же, как тоска, неутолима была жажда.

А вечером люди столпились у лошадиной туши, кричали и били живую лошадь в упряжке. Потом двое повезли тушу на телеге, сначала по длинной, затем по короткой улице, до двора, где лежала сука.

И тут случилось жуткое: какой-то человек выволок из ворот мохнатое собачье тело, выволок за задние лапы, раскачал и бросил в возок, на лошадиную тушу.

Тогда дог прыгнул под телегу и оттуда схватил человека за мягкую ногу. И так ожесточились в этот день люди, что истязали его чем-то острым, и тяже-

лым, и колким, пока он не разжал челюстей и не умчался в чужую улицу.

И потом, когда он плелся за телегой, те двое, что сопровождали ее, бросали в него камнями.

Но он не отставал от повозки. Пустынными и тихими ехали дорогами, и все реже встречались собаки, и ничто не отвлекало взора от несогнутых лап, торчавших на возу, как палки.

Дог брел поодаль от телеги, останавливаясь, чтобы повыть, если тоска сжимала горло. Жилые места остались позади и дохнуло издалека ночью, когда люди остановили телегу.

Было это окрай глубокого, забитого темью оврага. Плыл снизу теплый, вонючий пар, и пронзали его звериные вскрики.

Дог взвизгнул. Темная бездна колыхнулась от глухого подземного воя.

И почти в то же время люди сбросили с телеги под откос мохнатое собачье тело. Оно метнуло в воздухе белизной сваленой шерсти и скрылось.

И следом за ним, весь сжавшись, метнулся мускульным клубком кобель, туда, в теплую, вонючую темень. И когда летел и вертелся в исступленном визге, по срывам и оползням, было ему как во сне—нестерпимо жарко и холодно вместе.

Но на овражьем дне встал он на лапы. От ударов по толстокостому лбу вывалился у него язык и повис через губу, а в глазах плавали неуловимые точки, горевшие льдяной стужей.

Но за точками очертались выгнутые спины, а сквозь звон, заткнувший уши, слышно было изведанное щелканье.

Нужно было одолеть спертое зловонье оврага чтобы почуять живую опасность. Она скользила за льдя-

ным сияньем неуловимых точек. Нужно было перелить всю кровь из сердца в мышцы, чтобы приготовиться к бойне.

Вот тут, помолодев от страха и злобы, дог ощутил под самой мордой пухлый шерстяной покров своей подруги.

И так заострились все его чувства, что вместе со сладким духом втянул он в себя тот волнующий запах, который наполнял его нежной покорностью к суке, там, на устланных мягкой травой улицах, подле клокота городского сердца.

Он поднял морду. Над оврагом черной мутью висела знакомая пустота, но была она еще выше и леденящей стужей горели в ней точки, так же, как—неуловимые—кругом него, в подземелье.

И, точно чувствуя, что никогда не вернуться ему в мирное прошлое поросших травой улиц, взвыл последний раз по-собачьи.

Гудя и ухая сверзлась по обрыву лошадиная туша и плюхнулась в трупную кучу.

Разбежались в стороны, словно от ветра, горящие точки. Собрались потом раздутые, толстолобые, горбатые звери округ конины, поджав хвосты, рыча и огрызаясь, и начали свежевать.

Был средь обжор тех и зеленоглазый дог.

Но на этом—конец истории про душу пса и начало другой—про душу зверя.

Конст. Федин.

Петербург, 1921.

ХРОНИКА ГОРОДА ЛЕЙПЦИГА за 18.. год.

Рассказ.

I.

Человек кричал звонко: — Господин скульптор, господин скульптор—и бил молотком в двери.

Никто не откликался.

Он постучал сильнее и крикнул с отчаяньем:

— Скульптор!!!

Послышались тяжелые шаги за дверью, задребезжала цепь,—и заспанный голос спросил:—Кто там?

— Отворите, ради Бога отворите, господин скульптор.

— Это вы, Генрих?—спросил голос.

— Да, да, это я, Генрих. Отворите же . . .

— Сейчас, сейчас,—ворчал скульптор, отворяя двери.—Не мешало бы вам избрать другое время для разговоров, а не будить меня ночью, чтобы переполошить всю улицу.

И в самом деле: засветились огонечки в окрестных домах и тени задвигались в освещенных окнах.

Они вошли и дверь затворилась за ними, а это была толстая, дубовая дверь, обитая медью, с изображеньями орудий ремесла ваятелей, с засовом и цепью. За такую дверь было очень трудно проникнуть, но я

забрался на крышу и, опускаясь по широкой трубе вниз, очутился в небольшом углублении между кирпичами, у самого основанья каминной трубы. Там я упер ся ногами в уступы, рядом с решеткой, и начал внимательно слушать.

— Дорогой скульптор,—говорил Генрих дрожащим голосом:—если вы это не сделаете, то я все равно найду иной и окончательный выход, который поможет мне разом покончить со всеми моими несчастьями.

— Подождите,—отвечал скульптор спокойно и раздумчиво.—Я никак не пойму, для чего вам все это понанадобилось. Мне недорого стоит применить к вам мое искусство, но я боюсь, что вам это обойдется дорого. Хорошо ли вы обдумали ваше решенье, дорогой мой Генрих?

Но Генрих уже плакал, как ребенок.

— Стыдитесь,—снова заговорил скульптор явственно и шумно.—О чем вы плачете? Поймите, что то, что вы требуете, навсегда лишит вас возможности двигаться и говорить, если только нашему шальному сочинителю не вздумается когда-нибудь оживить статую.

— Чтобы ни случилось,—отвечал Генрих, хрипя и откашливаясь:—мне безразлично и я не хочу знать об этом. Я думаю лишь о том, что лучше навеки умолкнуть, превратившись в бронзу, чем далее терпеть эти невыносимые мученья.

И я слышал, как он задрожал и заскрипел зубами.

Я сидел в камине и думал, что они у меня немножко слишком сантиментально разговаривают. Но было уже поздно поправлять их, потому что скульптор затопил камин.

Едкий дым ослепил меня и я едва удержался, чтобы не вскрикнуть. Поднимаясь по уступам кирпичей прож-

ней дорогой, я услышал еще раз хриплый голос студента, что гулко отдался в каминной трубе, а потом ночной воздух освежил мою голову и я, спустившись с крыши, пошел по улице, тщетно пытаясь собрать убегавшие мысли.

II.

Старый профессор N шел по городу Лейпцигу, высоко поднимая сморщенное лицо и опираясь на палку. Профессор был очень ученый человек: всю свою жизнь он изучал философию Канта и даже в самом раннем детстве его кормили исключительно немецкой мудростью. Кухарка варила ему чрезвычайно питательную кашу из немецких философов конца XVII века, а просвещенная нянька вместо колыбельной постоянно напевала ему наиболее плавные места из «Критики чистого разума».

Многие думали, что он и есть сам Кант, но старый профессор опровергнул это ложное мнение рядом статей в философском ежегоднике. Словом, он был человек преученейший и мудрый.

Профессор шел, медленно поправляя изредка сползавшие очки и отвечая на низкие поклоны с важностью и полным сознанием собственного достоинства.

В уме его проплывали глубокие мысли, и он с нежностью думал о новом доказательстве правоты германского философа, которое он сегодняшний день намеревался изложить в пространном на сей предмет собеседовании.

Впрочем, поток его умозаключений был неожиданно прерван несколько странным происшествием.

Мимо него пробежал студент. В этом, однако, не было еще ничего, что бы заметным образом отвлекло

профессорское внимание от глубокомысленных занятий его. Но студент, несмотря на сильный мороз, был без шапки и пальто его было распахнуто. Поведение же его было явно предосудительно. Он бежал, толкая прохожих и нимало не обращая внимания на суматоху, поднимавшуюся вокруг него и, пробежав несколько, вдруг останавливался и начинал шарить по плитам руками.

Лицо его обличало крайнюю растерянность и недоумение. Я тотчас заметил все это и не замедлил приписать эти признаки некоторому известному мне приключению.

Добежав до профессора, он остановился и глянул на него полубезумными глазами.

— Простите, вы . . . не заметили ли вы . . .—проговорил он быстро:—не заметили ли вы нечто, так сказать, продолговатое?

Профессор молчал. Я подумал:—«не раньше ли времени замолчал профессор»?

— Видите ли, это чрезвычайно ценная вещь,—заговорил студент с нервностью:—более того, это нечто совершенно незаменимое.

Профессор вежливо отозвался:—Вы про что изволите говорить?

— Милостивый государь, милостивый государь,—продолжал студент, схватив его за пуговицу и видимо решаясь изложить все свои горести.—Если бы вы знали, если бы вы знали . . .

Два бюргера остановились на минутку и, переглянувшись, проследовали далее, помахивая тросточками и сторонясь левой стороны тротуара.

Профессор позабыл на минуту Канта.

— Мне кажется,—начал он, оборотясь к студенту:—что наилучшей касательно вас возможностью пред-

ставляется мне непререкаемая необходимость привести себя в более спокойное состояние духа.

— Да, да, да,—заторопился студент:—маленького конверта. Спрашиваю, не видали ли вы где-нибудь маленького конверта? Случайно, так сказать, обронил, а вынь никак не могу найти и употребить в дело.

И, не дождавшись ответа, он оборотился и побежал дальше.

Профессор постоял с минуту, поглядел вслед убегавшему и, покачав головой, с непреложностью направился к месту своего назначения. Но беспутной судьбе было угодно во второй, а впоследствии и в третий раз нарушить его спокойствие.

В тот самый момент, когда богоподобный швейцар распахнул перед ним священные двери университета, в тот самый, именно в тот самый момент, когда правая профессорская нога уже перешагнула порог, а левая приподняла профессорский каблук с явным намерением последовать примеру правой, в тот самый (а не в какой либо-другой) момент, когда швейцар, похожий на Юпитера, раскрыл свой бородатый рот с целью пожелать профессору доброго утра, а последний придержал рукою дверь, дабы войти в священное здание университета с подобающей ему торжественностью, так вот в это самое мгновение, столь отчетливо уже определенное, профессор оглянулся.

Причем направил взгляд свой не по прямой линии, но значительно ниже, под углом в 40°. На том месте, куда, сперва непроизвольно, а потом с большим вниманием поглядел профессор, лежал небольшой, продолговатый, синего цвета конверт.

Это и послужило причиной к тому, что левая профессорская нога не только заняла прежнее положение, но, соответственно повороту правой, хотя и с яв-

ным недовольством, повернулась на каблуке. Профессор наклонился и поднял конверт. Затем опустил его в боковой карман, и далее все пошло как следует.

Юпитер, наконец, поздравил профессора с добрым утром, этот последний взамен одолжил ему шляпу и палку. Сам же направился вверх по лестнице, напевая сквозь зубы и с удовольствием думая, что вот сейчас он будет излагать новое и убедительное доказательство правоты великого германского философа.

III.

Было бы слишком поспешным из этих двух маленьких глав делать какие-либо заключения. Можно, конечно, предположить, что в конверте находилось последнее достояние разоренных родителей неосторожного студента. Или что неизвестный, но несомненно дурного поведенья молодой человек, ворвавшийся ночью в квартиру почтенного ваятеля, конечной целью своего посещения имел ограбление вышеупомянутой квартиры.

Но предположения эти нимало не заслуживают внимания.

Со своей стороны я ни в коем случае не позволю себе заставить профессора сломать ногу на предпоследней ступени лестницы. Я не буду мешать ему подняться наверх по ней, ибо явственно сознаю, что это подчас является необходимым и, во всяком случае, естественным занятием.

Наоборот: все совершилось благополучно. Профессор поднялся на третий этаж и, свернув налево, по длинному коридору направился к аудитории.

IV.

Маленькая аудитория была почти полна. Ах, это было не в наши печальные времена, когда требуется полтора часа, чтобы отыскать в университете студента, нелюдимого, с зверским взглядом, с лицом, заросшим волосами, пугливого и одичалого.

Аудитория была почти полна, повторяю я, и профессор, поклонившись с достоинством, подошел к кафедре, поправил очки и начал медленно и веско:

— В прошлый раз мы остановились на рассмотрении того взгляда метафизики, который пытается утвердить критицизм в трансцендентально-логическом истолковании . . .

Примерные студенты вынули карандаши, развернули кожаные тетради и стали записывать. Записали, поднесли карандаши к зубам и как по команде выкатили глаза на профессора. И только один вихрастый и небритый — заворочался на краю правой скамейки с недовольством и, склонившись к товарищу, сказал: Опять завел волынку. Он не был поклонником Иммануила Канта.

— Мы видели, — продолжал профессор: — что эта попытка влечет за собой все неизбежные следствия генетических предпосылок в теории знания и открывает широкие горизонты для веры и вероятности. Но . . . логически мыслящий ум отличает область веры от области науки и проводит между ними точную границу имманентной постигаемости.

Профессор откашлялся на этой фразе, как он это делал с неизменной методичностью уже много лет. Именно ею старый профессор неоднократно уничтожал целые полчища метафизиков.

Но на этот раз нечто непонятное и вместе с тем явственное мешало ему говорить. От откашлялся, поднес руку ко лбу и попытался вспомнить что-либо или понять необ'яснимое ощущение. Наконец вспомнил и, не переставая плавно укачивать слушателей неопровержимыми построениями, осторожно опустил руку в боковой карман сюртука.

И рука, ощутив недавнюю находку, потянулась вверх, и небольшой продолговатый конверт блеснул синим пятном и упал на пол возле кафедры.

Вихрастый студент вскочил и подбежал к кафедре в тот самый момент, когда профессор с несвойственной ему легкостью наклонился и поднял конверт рукою.

Студенческий лоб набил большую шишку на лоб профессорский и, после обоюдных извинений, лекция продолжалась.

— Допустим,—начал снова профессор, и студенты с неуклонностью выпучили глаза и схватили карандаши:—допустим, что гносеология поставлена в необходимость воспользоваться предпосылкой. Результаты от такого неорганического соединения . . .

— Пойдем в кабак,—говорил вихрастый студент товарищу:—все равно ничего путного не скажет.

. . . могут выразиться в ряде теорий, которым современная наука истории философии уделяет свое место, как в историческом аспекте, так и в попытках подойти к ним возможно ближе в смысле конгениального понимания их. Непременное стремление усмотреть трансцендентальную согласованность в миропонимании, выразителем которого они являются . . .

Дверь растворилась с треском. И давешний студент вбежал, попатываясь и оставляя снежные следы на блестящем паркете. И вдруг, как вкопанный, остановился шагах в пяти от профессорской кафедры.

— Генрих,— тихо сказал вихрастый. Студент обернулся, дико взглянул и вдруг с необыкновенным вниманием принялся разглядывать паркет.

— «Необходимо,—подумал я:—необходимо заставить профессора разорвать конверт, покамест еще Генрих не вышел из аудитории. Пожалуй, если Генрих не увидит, как будет порван конверт, то у него не будет веской причины обратиться в статую».

Тогда я поднялся с задней скамьи и, приблизившись к профессору, сказал:

— Профессор, не будете ли вы так добры извлечь из вашего бокового кармана его содержимое.

И послушная рука, опустившись на мгновение и зажав большим и указательным пальцем указанный предмет, поднялась и продолжала раскачиваться в такт медленно произносимой речи.

— Эта необходимость, привнесенная извне,—говорил профессор, нимало не заботясь об упомянутом происшествии и даже не подозревая, вероятно, о моем присутствии:—в корне разрушает построение любой философской системы.

— Профессор,—продолжал я с кажущейся беззаботностью:- вы окажете мне большую услугу, соблаговолив разорвать конверт.

И тут, на глазах изумленной аудитории, профессорские руки, якобы совершенно машинально, поднесли конверт к профессорским очкам, которые незамедлили, соответственно с тем, наметить наиболее удобное для разрыванья место, а именно небольшую дырку, явившуюся, видимо, следствием неосмотрительного заклеивания.

Вслед за тем одна из них произвела легкое движение, и в тишине явственно послышался треск и шелест разрываемой бумаги.

Все смолкло.

Я, было, удалился, но, вернувшись с полдороги, подошел к профессору и спросил:—Вы плохо себя чувствуете, Herr Geheimrat?

Он как будто прислушивался: стоял, опираясь рукою, несколько подогнув колени, и молчал.

Молчал.

Студенты опустили карандаши, захлопнули тетради и равномерно покачали головами в знак сожаления.

— О, идиот,—закричал вдруг в бешенстве Генрих:— о, мерзавец, кто тебе позволил разорвать конверт?!

— Генрих,—сказал ему вихрастый:—ты пьян. Ты, должно быть, пропил свою . . .

Я прервал его . . .—Не находите ли вы, господин Бир, что професора нужно отвести домой.

Бир вдруг увидел меня и отвечал растерявшись, что не находит болезнь профессора до такой степени серьезной.

Но я убедил его парою слов, и, взяв профессора под руки, мы повели его вниз.

Он молчал, неловко приоткрывая рот, и шагал равнодушно. Был значительно бледнее обыкновенного.

— «Хм,—подумал я не без лукавства,—что бы это могло с ним приключиться»,—а вихрастый студент молча и с негодованием плюнул.

V.

Студент Роберт Бир думал вслух:

— Не кажется ли вам странным—сказал он, вежливо поклонившись,—не кажется ли вам странным, господин Роберт, что ваш беспутный товарищ третью ночь не является ночевать?

Он помолчал, а потом прибавил, выпуская клуб дыма и грозно наморщивая брови:—Но если он живет у девчонки или ушел к красотке на Берлинерштрассе, то почему не скажет об этом мне, своему лучшему другу?

Он положил ноги на стол и стал нагибать стул к полу.

— Странно, что Генрих пропал с той самой поры, как замолчал старый профессор со своим Кантом.

Стол, которому суждено было служить собеседником покинутого товарища, был существом общительным и гостеприимным. Но столь непринужденное к нему отношение так оскорбило его, что, пошатнувшись в лучших своих чувствах, он заскрипел что-то непонятное и медленно, но с похвальной достоверностью стал падать.

Это и послужило причиной того, что студенческие ноги приподнялись и опустились на пол.

И Роберт Бир, поглядев на стол с укоризной, придал ему основное положение.

— Я пощу его у Диркенштейна—сказал он.—Если его и там нет, то . . .—и тут он произнес несколько таких слов, которые я, по врожденной мне скромности, передать не решаюсь.

VI.

Время проходило своим обычным образом: 24 часа каждый день, 60 минут каждый час и 60 секунд каждая минута. Будущее делалось настоящим, а настоящее аккуратно превращалось в прошедшее.

Но для большей полноты и ясности моего рассказа, к сожалению, я принужден на время переместить эти привычные состояния и прошедшее сделать на-

стоящим, а впоследствии даже будущим. Для того, однако, чтобы вся вина от последствий этого необдуманного поступка пала не только на одного меня, я тайным образом перевел часы на трое суток обратно.

Я очень коварно приобщил часы к своему преступлению, но теперь уже поздно раскаиваться. Они идут, они презатейливо тикают в моем боковом кармане.

Часы идут, повторяю я, и никакая дерзкая рука не остановит теченья времени.

— Профессор,—сказал я, придерживая его одной рукою (мы ехали на извозчике, и трясло неимоверно):—скажите хотя бы адрес вашей квартиры.

Я превосходно знал этот адрес и спросил только с целью испытать, хорошо ли я выдумал мой конверт и каково его действие на господина профессора.

Но профессор не отвечал ни слова.

Зато отозвался Бир, что сидел с правой стороны на том же извозчике и сказал адрес, перепутав названье улицы и номера дома и квартиры.

— Что случилось со стариком, думал он:—и куда девался этот безумец Генрих? Почему он так странно держал себя и при чем тут продолговатый конверт?

Последние слова он даже сказал вслух, так он был смущен необыкновенным происшествием.

Профессор м о л ч а л.

— «Однако, это неприятная история,—думал я, подпрыгивая на ухабах и не без некоторого недовольства собою:—ведь если он не сумеет говорить, то противники германского философа одержат верх по вопросам гносеологических разногласий».

Но тут извозчик под'ехал к дому профессора.

Роберт Бир соскочил и побежал известить его семью о необычайной случайности.

Он постучал в дверь и подумал:—А ведь у профессора есть дочка—но в это время дочка профессора, голубоглазая Гретхен, отворила дверь.

— Herr Geheimrat несколько плохо себя чувствует, дорогая фрейлейн,—сказал он, осторожно протягивая руку:—вы не волнуйтесь, это, так сказать, припадок молчаливости.

Голубоглазая дочка бросилась к профессору.

Подводя его к двери, я вынул часы, чтобы посмотреть, сколько времени прошло с той минуты, как я их переставил. Но часы выпали из рук и разбились.

Настоящее стало настоящим, прошедшее—прошедшим, и студент Роберт Бир отыскивает своего пропавшего друга.

VII.

Снег был пушистый и белый, как и полагается снегу. Несмотря на то, что всем известно, что он только и может быть белым, а не какого-либо другого цвета, и только пушистым, а не твердым, как камень, несмотря на это, говорю я, многие уважаемые писатели ежегодно и с удивительным постоянством упоминают об этом в плодах своего старательного гения. Упомяну и я (надо подражать старшим): снег был пушистый и белый. Теперь, по крайней мере, я понимаю, что значит быть уважаемым.

Студент Бир был также отчасти пушист. Да, он был пушист, волосами пушист, и крупен носом, хотя все это нимало не определяло его характера.

Вот я уже продвинулся вперед: 1) Снег был пушист; 2) Студент был пушист.

Отсюда досужий ум может вывести глубоко важные заключения. Но я не выводил никаких заключений, я только следовал за ним в отдалении и кутался от зимней стужи в свою крылатку.

———

Студент говорил, лениво шагая и покачиваясь из стороны в сторону.

— Его нет у Диркенштейна, его нет у Глаубенштока, его нет у Мейера и Кунца. Его нет ни в одном из Лейпцигских кабаков, он пропал. А если он пропал, то и я пропал. Ибо мне не перенести потери лучшего друга.

Голубой снег медлил, кружась и падая. Людная улица осталась позади студента. Он вступил в проулочек кривой и грязный.

Я вышел к нему из-за угла крайнего дома и сказал:

— Тут, направо за шляпным магазином, торгует старуха Бах. Старуха—антикварий. У нее есть очень любопытные вещицы и вы не потеряете времени, истратив его на посещение старухи Бах.

Студент не заметил моего присутствия, однако обернулся и минуту стоял прислушиваясь.

А потом спокойно и медлительно направился к лавчонке, которую я указал ему.

— Добрый день, фрау Бах,—промолвил он входя в лавку.

— Здравствуйте,—прошамкала старуха, сидевшая за прилавком, вздергивая ястребиный нос и откладывая вязанье.

— Мне сказали,—продолжал студент:—что у вас имеются любопытные вещицы по антикварной части.

Старуха соскочила со стула и подпрыгивающей походкой направилась к нему.

Подойдя, взглянула в упор, пристально разглядывая и как бы сравнивая, и старческое лицо ее дернулось в отвратительной гримасе.

Студент вздрогнул и сказал, сам не зная зачем:

— Не встречали ли вы случайно Генриха Борнгольма, студента Лейпцигского университета, Генриха Борнгольма?

Старуха вновь уселась на стул и ответствовала:

— Нет, я не встречала студента Борнгольма, а если вам угодно купить что-либо в моем магазине, то посмотрите товар.

Она указала рукою на полки и открыла витрины.

Студент провел рукою по волосам, как бы отгоняя наваждение и принялся осматривать.

Он осмотрел старинные чашечки с монограммами и позеленевшими надписями. Притронулся рукою к табакерке с портретом очаровательной красавицы, выложенным перламутром. Окинул внимательным взглядом золотые подвески и часы с изображеньем Христа и Апостолов. Потом поднял глаза и сказал:

— Мне бы хотелось что-либо для свадебного подарка, уважаемая фрау Бах. Нет ли у вас какой-либо . . .

— Вы поглядите на полки,— прошамкала старуха. И студент, как во сне, подошел к полкам.

Миновав золоченый прибор, нимало не отвечавший его заданьям, отстранив рукою рамки для карточек, по неизвестной причине попавшие в антикварный магазин, и пробежав глазами по нижним полкам, он уже рассеянным взором глянул на маленькую бронзовую статуэтку, что нашла себе приют в самом углу, полуприкрытая всяким хламом.

Взяв ее в руки, он отступил на шаг и крикнул:

— Генрих!!

Ибо узнал в ней пропавшего друга.

Старуха засмеялась шопотом.

— Я нашел тебя, дорогой друг—сказал студент, тоже засмеявшись.—Теперь тебе не удастся так легко покинуть нашу комнату.

И он задрожал мелкой дрожью и сказал, оборотясь к старухе:

— Вот эту вещицу я бы хотел купить у вас, фрау Бах.

VIII.

Я принужден сознаться, что эта глава по совершенно неизвестной причине попала в наше повествование.

Теперь, когда оно зашло так далеко, что непременно потребует продолжения, я, разумеется, после длительного, после твердого размышления, решил несколько подурачить нашего благородного . . . Я хочу сказать: я решил несколько вспенить благородное лейпцигское пиво.

Тук . . . тук . . .

Тук . . .

Тук . . .

Это простучал молоток у двери. Я принял облик Генриха Борнгольма и взял молоток в левую руку: тук, тук . . .

Глуховатый мужской голос спросил:—Что угодно?—и обладатель его, не ожидая ответа, отворил дверь.

— Это ты,—сказал он, отступая назад в явном изумлении.—Ты, наконец, вернулся?

— Простите—холодно ответил Генрих в совершенном недоумении—вы меня принимаете за кого-то другого.

— Что с тобою, Генрих,—вскричал Бир:—ты верно пропил память за последние дни.

— Но я, право, не знаю вас,—по-прежнему холодно, но с вежливостью продолжал Генрих:—и крайне удивлен, что вам известно мое имя. Если вы студент Роберт Бир из Иены, то вы нужны мне по крайне важному делу. Однако, я совершенно уверен, что доселе я никогда не встречался с вами.

— Полно шутить, Генрих,—закричал студент:—зайди ко мне и поговорим. Мне самому нужно поговорить с тобою.

— Вы заставляете меня удивляться,—сказал Генрих:—я решительно не понимаю чем была вызвана эта недостойная с вашей стороны шутка.

Наступило молчание.

— Ну, если ты—не ты,—сказал Бир, качая головою:—если ты—не ты, так это удивительное сходство.

— Прошу вас зайти,—сказал он немного спустя.—Повидимому, я просто обманут необыкновенным стеченьем обстоятельств. К тому же события последних дней несколько затуманили мою голову.

Они вошли в комнату и Бир еще раз внимательно оглядел своего посетителя. Генрих не выражал больше никакого удивления и прямо приступил к делу.

— Если я не ошибаюсь,—начал он:—то вы были свидетелем того несчастного и крайне странного случая, который имел место на прошлой лекции профессора N.

— Да,—сказал Бир:—я действительно присутствовал на этой лекции и хорошо осведомлен относительно происшествия, о котором вы упомянули.

— Когда профессор потерял дар речи, или когда столь необыкновенно была прервана его лекция, то на небольшом от него расстоянии находился студент Борнгольм.

Бир вытаращил глаза и опустился на стул в крайней растерянности.

— Этот студент Борнгольм,—продолжал Генрих:—вел себя чрезвычайно некорректно или, по крайней мере, странно. Когда профессор замолчал, пораженный своей необычайной болезнью, то он крикнул ему бранные слова, которые я не могу и считаю ниже своего достоинства повторять.

— Клянусь честью,—сказал Бир негромко, но твердо и уверенно:—клянусь честью, что ты—студент Генрих Борнгольм, которому вздумалось дурачить меня по неизвестной причине.

— Если вам угодно выслушать меня,—отвечал Генрих:—то будьте добры не прерывать меня неуместными замечаньями. Я—действительно Генрих Борнгольм, но вас я не знаю и не встречал никогда.

Он помолчал с минуту и потом продолжал:

Так вот этот студент нужен мне по крайне важному делу. Я полагаю, что вы дадите указанья относительно того, где он в настоящее время находится.

— Ну, если правда, что вы не тот самый, кого вы ищете и не тот, кого я искал в продолженье трех дней, то разрешите мне показать вам вещицу, которая наиболее приближается с некоторых точек зрения к искомому.

Так сказал Бир и, сняв со стола статуэтку, передал ее посетителю. Он сделал это с таким мрачным и необыкновенно серьезным видом, что я не выдержал и расхохотался, уронив статуэтку на пол и с ужасом думая, что сейчас раскроются все мои плутни.

IX.

На широком кожаном кресле, что стояло между окнами, рядом с письменным столом, лежал халат ми-

шиного цвета и с голубыми цветочками, вышитыми нежными пальчиками фрейлейн.

Перед халатом, на маленьком столике, покрытом белоснежной салфеткой, стояла чашка кофе, за креслом, на котором он лежал, стояла голубоглазая Гретхен и мелодично плакала. Зимнее солнце очень ярко светило в окна и, вероятно, плохо действовало на мышиного цвета халат, потому что он беспокойно зашевелился и начал поднимать рукава.

— «Метафизики одержат победу,— думал я, не без любопытства вглядываясь в исхудалый халат и чуточку приоткрывая дверцы книжного шкапа.—Пожалуй, старик замолчал надолго со своим»... Но тут германский философ поглядел на меня со стенки с такой укоризною, что я в смущении тотчас снова скрылся в свое убежище.

Халат поднял рукав и нежно вложил карандаш в исхудалую руку. Но, должно быть, солнце очень мешало ему работать, потому что рука чертила непонятные очертанья и, бессильная, падала.

— «Что делать, Herr Geheimrat?»

Я сидел в книжном шкапу и горько сетовал на себя за то, что причинил старику такое огорченье.

— «Однако,—думал я:—часть вины падает на этого безумца Генриха, который потерял конверт и вызвал тем самым такие нежданные, такие плачевные последствия».

«Вот,—продолжал я думать:—вот плоды неосмотрительного поведения и необдуманных деяний молодого возраста. Вот к чему ведут безумные мечтанья и в связи с этим таковые же поступки человека, который вместо благородной работы в священном храме науки занимается бесплодной деятельностью в области невероятных событий.

Тут я разгорячился и чуть было не выскочил из шкапа. Но от порывистого движения дверцы его распахнулись. Я окончательно рассмотрел халат мышиного цвета и сказал:

— Здравствуйте, Herr Geheimrat!

X.

Я поставлен в печальную необходимость снова начать главу, и на этот раз о временах давнопрошедших. Начинать всегда было труднее, чем кончать, тем более, что если не кончить начатое, то результатом будет неоконченное, а если не начать, то результата не будет вовсе.

Я предпочел первое, ибо уже начал.

Студент сидел у письменного стола и думал. О чем он думал—неизвестно, но вернее всего о белокурой Гретхен, дочери профессора. Заслуживает также внимания то предположение, что он и не думал вовсе, а по обычной рассеянности забыл раздеться и лечь в постель и спал теперь за столом, закинув бледное лицо на спинку кресла.

Так было ночью. Рассвет же застал его бодрствующим. Он склонился над столом, рука быстро выводила на бумаге нервные строки: он писал письмо.

«Лейпциг, Берлинерштрассе, 11.

Фрейлен Грете N.

Вчерашний день, благородная фрейлен, вчерашний день вечером я говорил вам, что в случае неблагоприятного ответа с вашей стороны на ряд моих предложений, а наложу на себя обет молчания.

Ах, фрейлен Грета, вы знаете, вы знаете, что мне лучше навеки умолкнуть!!

Ах, фрейлен Грета, если мне теперь нельзя говорить с вами, потому что вы обручены с фортепианным мастером Зонненбергом, так уж лучше умолкнуть для всех и навсегда оградить себя стеною молчания. Впрочем, я всегда был молчалив, благородная фрейлен, и некоторая планомерность, которую я вношу в упомянутое состояние, не принесет мне больших огорчений.

Отныне одиночество будет мне другом. Прощайте, прощайте, фрейлен Грета. Nunc est bibendum. Свидетельствую мое непременное уважение

Herr'y Geheimrat'y.

Моя подпись: Генрих Борнгольм.

год 18 . . . января 8 дня».

В воскресные дни на Берлинерштрассе шумно и весело. Летят огромные экипажи, чинные гуляют фрау и национальными цветами украшена улица.

В воскресенье на Берлинерштрассе прогуливался бледный молодой человек, молчаливый и сосредоточенный.

Он медленно проходил вдоль улицы и, дойдя до угла, которым кончалась она, плавно поворачивал и с легкостью шел обратно.

Если он и задерживался иногда у одного большого серого дома, с дрожью поднимая глаза к полуприкрытым окнам, то это легко приписать недостатку внимания и обычной рассеянности, которою он отличался.

Звонко кричали мальчики с содовой водой и какие-то старухи в чепцах говорили, стоя у входа в дом, о своих хозяйственных соображениях.

Бледный молодой человек, в студенческой форме, гулял аккуратно два часа по воскресным дням, и в тре-

тий час своего пребывания на упомянутой улице покидал ее. Но на этот раз, в тот знаменательный день, что повлек за собою описанные, весьма многочисленные и нежданные последствия, он вернулся домой раньше.

Он поднялся на второй этаж и, погремев ключом, вошел в полутемную комнату; прилег на диван, перебросив ноги через спинку стула, и принялся думать.

Он думал печально, а потом уснул. И, проснувшись поздней ночью, увидел незнакомого человека, что сидел в его кресле и читал, наклоняясь над книгой.

— Простите,—вскричал человек, внезапно обернувшись и тотчас отпрыгивая от стола на порядочное расстояние:—я очень извиняюсь, господин студент, что расположился тут, не имея на то вашего соизволения.

Он помолчал, как бы ожидая ответа, а затем продолжал:

— Мне передавали о вас столь любопытные вещи, что я осмелился посетить вас без особого приглашения. Впрочем, я почти уверен, что вы ничего не имеете против моего присутствия в вашем очаровательно-скромном жилище.

Генрих поднялся и, подойдя, поглядел на незнакомца с вниманьем и спокойствием.

Тот завертелся на одном месте, подобно волчку, и вдруг остановясь, вскочил на спинку кресла, схватив подбородок рукою и острым локтем ее опершись на колено.

— Nunc est bibendum,—вскричал он и вытащил бутылку из кармана фрака.—Выпьем, дорогой студент.

Бокал звякнул о бокал и незнакомец выпил оба. Потом принялся смеяться пронзительно и хрипло. Острая бородка взвилась вверх, пронзая воздух, колени вздрогнули и приподнялись выше, а худые лопат-

ки под черным фраком заходили и заплясали, как бы в припадке неудержимого веселья.

Генрих стоял, крепко зажимая в зубах готовое улететь молчанье.

— Ваше молчанье,—вскричал незнакомец:—превосходно. Я должен сознаться, что это должно было стоить вам тяжелых усилий, господин студент. Впрочем, давно известно, что студенты города Лейпцига умеют хранить обещанья.

Студент города Лейпцига привстал с кресла, в которое он уселся взамен своего собеседника, и чуть не упал снова. Незнакомец как бы пронзал его всем своим видом, застроенностью тела и лица и необыкновенной угловатостью движений.

Вы,—почти автомат, любезный Боригольм:—говорил он снова, усаживая его в кресло и развевая над ним своим цилиндром, отчего лицо Генриха розовело.

Но вот он отошел на несколько шагов, остановился, подергивая и кружа руками, и начал:

— Ваше благосклонное (смею ли верить, что точно благосклонное) ко мне отношение дает мне твердую уверенность в том, что вы не откажетесь согласиться на мое предложение, касающееся высокой ценности и удивительных достоинств вашего необычайного достояния.

Тут он присел на краешек стола с бесподобной легкостью.

— Дело в том, что существует весьма удобный выход из тягот того положения, в котором очутились вы, благодаря свойственной вам (льщу себя надеждой, что не только вам, а также и другим студентам Лейпцига) твердости и удивительной выдержанности характера.

Генрих уколол молчание кончиком языка и оно свернулось змейкой, стиснутое острыми зубами.

— Выход этот,—снова начал незнакомец:—представляется в заключении между нами торговой сделки с целью продажи мне вашего добротного товара.

— Молчанье,—продолжал он, останавливая рукою вскочившего было Генриха: -доброкачественно и хорошо обработано. Я не замедлю предложить за него достойную вас, а также достойную благородных причин, которыми оно было вызвано, цену. Цена эта,— тотчас продолжал он, едва переводя дух и однако же не забывая с осторожностью отойти от кресла:—подает мне некоторую надежду на благоприятный с вашей стороны, господин студент, ответ на ряд моих . . . касательно моего предложения.

Нетерпение кратким путем пробилось по лицу Генриха и тотчас ушло туда, откуда явилось.

Какого мнения вы, продолжал незнакомец:— относительно дочери преученейшего профессора N, по имени . . .

Незнакомец понизил голос, как бы сам стыдясь своего предложения. Потом осторожно и успокаивающе притронувшись к плечу его, сказал шопотом:—по имени Гретхен и как раньше завертелся волчком, вскинув кверху острую свою бородку. Мысли вихрем завертелись в голове Генриха.

— Я хочу сказать,—продолжал его собеседник:— что взамен вашего молчания вы получите . . .

Молчанье затеяло в гортани студента столь бешеный танец, что левой рукою ему пришлось с силой упереться в нижнюю челюсть.

— Ту самую, ту самую очаровательную Гретхен, которая послужила единственной причиной вашего отважного решенья.

— Видите ли,—снова начал он, подходя ближе и наклоняясь к Генриху,—условие, которое я предлагаю вам—выгодно для нас обоих. Мою покупочку я использую презабавнейшим образом. Вы же ничего не потеряете, если взамен того, что отдадите мне, получите любовь белокурой Гретхен, дочери профессора философии и верного последователя Иммануила Канта. Не так ли?

Зубы лейпцигского студента раздвинулись и снова сомкнулись с треском. Он поднял голову и еще раз внимательно оглядел необычайного посетителя, предлагавшего необычайную цену за необычайное достоянье.

— Я не тороплю вас ответом, дорогой друг,—промолвил незнакомец с нежностью и скривился, как бы под влияньем острой боли.—Два или три дня не будут иметь большого значенья для нашей сделки. Разрешите только заметить вам, что вот с помощью этих клещей и этой баночки клея (тут он извлек указанные предметы из заднего кармана фрака) вы сумеете вытянуть ваше молчанье и заклеить его в любой конверт среднего формата или лучше продолговатой формы, ну, вот хотя бы из числа тех, что я вижу сейчас на вашем столе.

Он указал рукою на пачку синих конвертов, аккуратной стопочкой лежавших на письменном столе студента.

— Ну, как?

И Генрих в знак согласия медленно опустил голову.

— Благодарю вас,—весело, но с вежливостью вскричал его собеседник:—благодарю вас, дорогой студент. Для окончания нашего дела разрешите мне написать вам адрес, по которому я попрошу вас отнести конверт.

Он записал адрес на листике бумаги, вырванной из записной книжки студента и, повернувшись, исчез.

XI.

Приступая к этой главе, я чувствую стесненье в груди и боль под ложечкой.

Целый ряд непредвиденных несчастий обрушился на XI главу, начиная с того, что я позабыл написать ее своевременно и, написав несвоевременно, неожиданно утерял.

Дело обстояло следующим образом: кончая X главу моего незатейливого рассказа, я почувствовал себя крайне дурно. Причиной этого вероятнее всего было тяжкое предчувствие, которое с жестокостью охватило мое сострадательное сердце. Впрочем, этим не исключается другая причина, более материального характера, относящаяся, главным образом, к области болезненного состояния центральной внутренности моего неокрепшего тела.

Почувствовав себя дурно, я лег на диван и уснул.

Мне тотчас же приснилось, что XI глава в виде вороньего клюва тычет мне в правый глаз и вообще ведет себя совершенно непристойным образом. Тут было, несомненно, влияние X главы, но это не важно.

Проснувшись поздней ночью, я как будто под влиянием внезапного вдохновения, закончил мою повесть последней главою и торжественно закричал во славу моего гения, разбудив тем самым двух братьев и старого дядьку, который погрозил мне костлявым пальцем и сказал, что всегда был уверен, что из меня, шерамыжника, ничего путного не выйдет, и что, по его мнению, я окончу жизнь в почтенном доме или на виселице.

Прошло много лет, когда я, умудренный опытом и горчайшими познаньями жизни, вновь принялся за свое юношеское произведение. Найдя его недовершенным, я вставил позабытую одиннадцатую главу.

Я прекрасно помню, что она говорила о старой дружбе студентов Бира и Боригольма, и о том, как последний поселился в комнате первого и о том, как тот же, последний, неожиданно исчез, и прочее и прочее.

Там также в самых трогательных выраженьях, вполне свидетельствующих о нежной душе и сострадательном сердце автора, говорилось о том, как, приведенный в отчаянье потерей конверта, Генрих Боригольм решил обратиться в статую. Словом, это была добросовестная, хорошая XI глава.

И она сбежала тою же ночью.

Я знаю, я знаю, что меня будут упрекать в простодушии, быть может, в недостатке мужества, лишающем меня возможности честно сознаться в том, что я ее не написал.

Но она сбежала, говорю я вам, и там, где она была — совсем чистое место и совершенно девственное бумажное поле.

Я не виноват ни в чем и во всем подозреваю студента Бира. Это он, это он утащил главу, коварнейшим образом лишив меня возможности оправдаться в неясностях моего рассказа.

XII.

Лунный свет несмело проникал через полуприкрытые ставни, падал бледной полосою на пол и тонкими блестками играл на иглах шитья, освещая старое лицо и узловатые руки старухи. Ах, эта старуха Бах,

Из антикварного магазина! Сколько раз, когда, усталый от тяжкого дня, или отягченный предчувствием, я закрывал глаза,—выплывал передо мною этот крючковатый нос, эти выпуклые, желтые веки без ресниц, это хищное лицо с отвислыми щеками и приподнятой верхней губою.

Все это выплывало предо мною с удивительной отчетливостью: старые губы шевелились, силясь выговорить мне свои язвительные речи, и я вздрагивал и думал: «Вот еще немного, и я напишу о вас, милая фрау Бах, и ваше очаровательное личико наконец оставит меня в совершенном покое».

Старуха любила до поздней ночи сидеть в антикварной своей лавочке. Она не ждала уже ни покупателей, ни продавцов, а все сидела за прилавком, покусывая серые губы и быстро двигая спицами вязанья.

Впрочем, иной раз, не взирая на позднее время, ее посещали старые друзья по темным делам и необыкновенным происшествиям.

Нынешний вечер она не ждала никого.

Малый светильничек распространял желтый свет вокруг и рядом с лунным опадал и прятался в тени.

Медные люди на огромных гравюрах смотрели вниз с непонятной мрачностью, а на полу, рядом с полосою света быстро шевелились спутанные тени рук, спиц и вязанья.

В дверь постучали.

— Отворите, бабушка Бах, мне нужно увидеть вас на минуточку.

Старуха поднялась, отложила вязанье и отодвинула тяжкий засов двери.

— Простите, бабушка,—с нежностью начал вошедший:—простите, что зашел к вам так поздно.

Фрау Бах уселась за прилавок и не отвечая принялась за работу.

— Тут один студент должен был занести к вам письмо,—продолжал незнакомец чрезвычайно ласково:—продолговатый синий конвертик, а в нем моя покупочка.

— Знаю, знаю о ваших делах,—проворчала старуха:—я все знаю, мне не нужно рассказывать.

— «Она ничего не знала,—подумал я:—ничего решительно, если бы я не рассказал ей о потере конверта и том, к о г о она продала вчера студенту Роберту Биру».

— Мне никакого конверта не приносили,—продолжала она, поднимая на незнакомца хищные глаза и вновь откладывая вязанье—а тот, кто должен был принести, того я вчерашний день . . .

— Как,—вскричал незнакомец:—вам не приносили конверта?

— Говорю вам, что тот, кто должен был принести, того я вчерашний день . . .

Стук в дверь прервал ее.

Незнакомец предупредительно отодвинул засов и скрылся в углу, между стеной и дверью.

Слабый светильник закачался от порыва ветра, медные люди нахмурились с совершенной ненавистью, фрау Бах поднялась навстречу новому посетителю.

— Ради Бога простите, уважаемая фрау Бах,—быстро проговорил тот:—но чрезвычайно важное дело привело меня к вам в столь позднее время.

— Господин скульптор,—с достоинством начала уважаемая фрау:—господин скульптор, я вас слушаю.

— Три дня назад я приносил вам для продажи бронзовую статуэтку студента . . .

Скульптор притопнул ногой и в нетерпении подбежал к самому прилавку.

— Так, приносили.

— Так вот, не можете ли вы вернуть мне мою работу. Любезная фрау, любезная фрау,—продолжал он, схватывая ее за пуговицу и, видимо, решив изложить ей все свои горести:—если бы вы знали, если бы...

— Тс,—сказал я шопотом:—я, кажется, уже начинаю повторяться.

— Верните мне ее, и за нее я отдам вам все мои работы.

— Статуэтку эту я вчера продала,—сказала фрау Бах, искривляя лицо столь необычайным образом, что на одной нижней губе можно было станцовать менуэт.

— Продали!—закричал скульптор, обеими руками впиваясь в бороду, разумеется, свою бороду:—да знаете ли вы, ч т о вы продали?!

— Знаю,—сказала старуха:—знаю. Я продала, и за хорошую цену, студента Генриха Борнгольма.

— Студента Борнгольма?—сказал незнакомец, выступая из своего убежища и обращаясь не то к скульптору, не то к старухе, но с явным негодованием:—вы должно быть с ума сошли, бабушка, да и вы, милостивый государь, вероятно, не в своем уме.

Светильничек отклонился в сторону и длинные тени заколебались из стороны в сторону, протягивая огромные щупальцы и уходя друг в друга.

— Чортова бабушка!—кричал скульптор, бегая по лавке и со всею силой теребя бороду, разумеется, свою бороду.—Кому, кому вы его продали?

— Молчите,—промолвил незнакомец:—кажется постучали в дверь.

В дверь осторожно постучали.

— «Дело идет к концу»,—подумал я, а старуха плю-

нула с озлоблением и пошла отворить новому посетителю.

— Фрау,—быстро заговорил вошедший, нимало не обращая внимания на странные позы, в которых находились присутствующие: это был студент Роберт Бир и в руке он держал что-то старательно завернутое.

— Дорогая фрау, тут на днях я купил у вас одну вещицу, вот она у меня в руках . . . Так не можете ли вы назвать мне имя того скульптора, который ее сделал.

Он быстро развернул пакет, и бронзовая статуэтка матово отразилась в лунном свете и отбросила тонкую тень в полосе его.

Генрих,—закричал скульптор, бросаясь к статуэтке и схватывая ее обоими руками:—это он, это Генрих Борн . . .

Бронзовый человечек хранил полную неподвижность и вечное молчанье.

— . . . гольм—окончил Бир— так это вы сделали эту статуэтку?

Скульптор принялся лихорадочно быстро завертывать ее в обрывки бумаги.

— Так разрешите мне узнать, —спросил Бир с твердостью и непременным желанием выяснить, наконец, непонятный случай—чем об'яснить? . .

— Виноват—вступился незнакомец, теряя терпение:—виноват, господин студент, разрешите м н е у вас справиться, не известно ли вам что-либо точное касательно Генриха Борнгольма? Дело в том, что это лицо . . .

— Молчите,— закричал Бир, пугаясь что и на этот раз ничего выяснить не удастся:—Генрих Борнгольм, или, вернее, тот шарлатан, который выдает себя за

Генриха Боргольма, находится сейчас у меня в квартире, а что касается до подлинного Генриха Боргольма, то о нем-то я и хотел спросить у господина скульптора.

— Довольно,—сказал я, входя наконец в лавку:— что вы тут путаете, никак не могу разобрать. Да и стоит ли волноваться из-за такой мелочи.

Незнакомец вновь скрылся в тени. Он был умен и тотчас почувствовал мои намерения.

Я взял большущую лампу с синим абажуром и зажег ее ярким пламенем, чтобы перед разлукой еще раз внимательно поглядеть на присутствующих.

— Будет тебе, будет тебе, сочинитель,—проворчала фрау Бах,—что ты тут как дома у себя распоряжаешься.

— Молчите, фрау Бах,—промолвил я с полным спокойствием—мне нужно сказать всем вам пару слов, прежде чем с вами проститься.

Я встал на стул, взмахнул руками и сказал:—Вниманье!—и тотчас лица всех присутствующих обратились ко мне.

— Вниманье! это последняя глава, дорогие мои, и нам придется скоро расстаться. Каждого из вас я сердечно полюбил, мне будет очень тяжела разлука с вами. Но время идет, сюжет исчерпан и не было бы ничего скучнее, как оживить статуэтку, снова превратив ее в студента Боргольма, а потом женить его на добродетельной Гретхен. По правде говоря, я не вижу в этой девушке больших достоинств и уж наверное не ее прочил бы в жены моему студенту.

Подобно этому я вовсе не намерен вернуть достопочтенному Geheimrat'у дар речи. Он снова начал бы вбивать в студенческие головы мудрость германского

философа, а я, подобно Роберту Биру, не поклонник Иммануила Канта. .

— Много ты понимаешь в Иммануле Канте,—прошептал Бир.

— Что касается до вас, дорогой незнакомец, то ведь мы—старые друзья, и я сердечно надеюсь еще не раз встретиться с вами и в полной мере воспользоваться вашими услугами.

— Роберту Биру,—сказал я, помолчав с минуту:—желаю полного преуспеяния в науках—пусть только он пореже посещает Глаубенштока и Мейера, и Кунца; а старушку Бах попрошу не являться ко мне поздней ночью, когда ветер бьет в окна, и я наедине с одиночеством . . .

— Осмелюсь заметить -перебил меня незнакомец,—желательно было бы получить от вас, дорогой сочинитель, некоторые раз'яснения.

— Да? -сказал я и удивленно поднял брови:—вам что-либо показалось неясным?

— Осмелюсь спросить, -продолжал незнакомец с вежливостью, но хитро улыбаясь:—относительно шарлатана, который . . .

— Тс, перебил я его осторожным шопотом:—о шарлатане ни слова. На вашем месте, дорогой друг,—продолжал я, обращаясь к незнакомцу:—я бы спросил, почему замолчал профессор?

— Вы подсыпали в конверт какое-нибудь ядовитое снадобье,—сказал Бир.

— Пустое, отвечал я: -вы недогадливый юноша, Роберт Бир. Профессор замолчал, потому что . . .

Но тут старуха Бах потушила лампу. Я в темноте осторожно слез со стола, с нежностью пожал руки присутствующих и вышел.

В. Каверин.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	стр.	
Мих. Зощенко. Виктория Казимировна . .	7	✓
Лев Лунц. В пустыне	20	✓
Всев. Иванов. Синий зверюшка	28	✓
Мих. Слонимский. Дикий	44	✓
Ник. Никитин. Дези	60	
Конст. Федин. Песьи души	82	✓
В. Каверин. Хроника города Лейпцига . .	93	✓

Книги Серапионовых Братьев.

Илья Груздев. Статьи. Изд. „Серапионовы Братья", Пб. *(готовится).*

Мих. Зощенко. Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова. Изд. „Эрато", Пб. *(в продаже).*

Всев. Иванов. Партизаны. Повесть, изд. „Космист", Пб. *(в продаже).*
Кургамыш—зеленый бог. Сказки.
За спиной моря. Рассказы *(печатаются).*
В изд. „Эпоха", Пб.:
Том I. Цветные ветра. Повесть *(печатается).*
Том II. Ситцевый зверь. Рассказы *(тоже).*
Лога. Книга рассказов *(готовятся).*
В изд. Главполитпросвета, Мск.:
Партизаны. Повесть *(в продаже).*

В. Каверин. Пятый странник. Книга рассказов.
Изд. „Серапионовы Братья" *(готовятся).*

Лев Лунц. Вне закона. Трагедия в 5 действ. *(печатается).*

Ник. Никитин. Камни. Рассказы. Изд. „Алконост", Пб. *(печатается).*
Рвотный форт. Повесть.
Изд. „Эрато" *(печатается).*

Елиз. Полонская. Знаменья. Стихи. Изд. „Эрато" *(разошлось).*

Мих. Слонимский. Шестой-стрелковый. Рассказы, Пб. *(печатается).*

Н. С. Тихонов. Орда. Стихи. Изд. „Островитяне", Пб. *(готовится).*

Конст. Федин. Рваное сердце. Рассказы.
Изд. „Парфенон", Пб *(печатается).*
Бакунин в Дрездене. Театр.
Госуд. Изд., Пб. *(готовится).*

Викт. Шкловский. Революция и фронт *(в продаже).*
Эпилог *(в продаже).*
Ход коня. Статьи *(печатается).*

СКЛАД ИЗДАНИЯ
Невский, 57.

PG
3283
S4

Serapionovy brat'ia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

UTL AT DOWNSVIEW
D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 14 15 03 01 004 0